

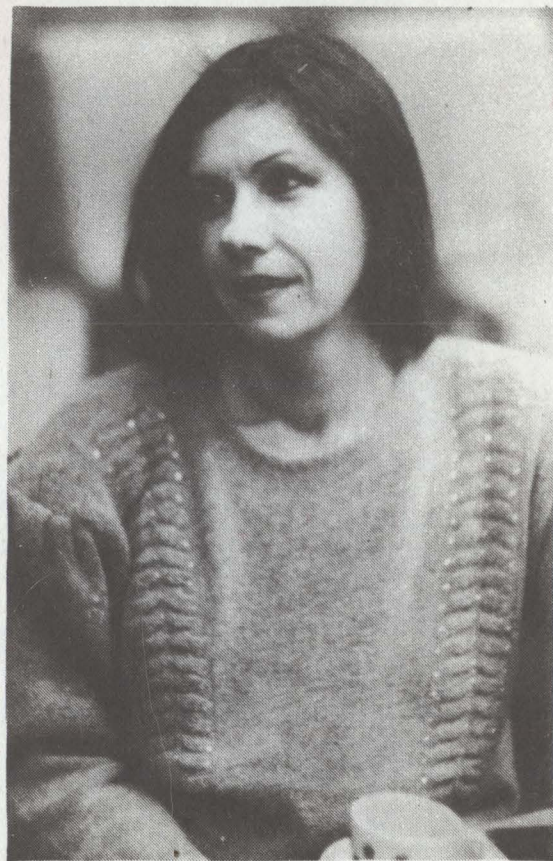
**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;
 А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;
 В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;
 А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ—POESIA»;
 В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;
 З. ГИППИУС «Последние стихи»;
 В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;
 Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари»;
 А. ХУРГИН «Лишняя десятка»;
 Н. ИЛЬИНА «Власть тьмы»;
 Н. КОРЖАВИН «Письмо в Москву»;
 П. СТРУВЕ «Скорее за дело!»;
 Л. РАЗГОН «Перед раскрытыми делами»;
 Б. СЛУЦКИЙ «О других и о себе»;
 Б. АХМАДУЛИНА «Побережье»;
 Д. БАКИН «Цепь»;
 В. СОЛОУХИН «Наваждение»;
 Л. ПЛЕШАКОВ «Как трудно стать самим собой»;
 Н. КЛЮЕВ «Песнь о Великой Матери»;
 Б. ЧЕРНЫХ «Маленький портной»;
 И. ИРТЕНЬЕВ «Елка в Кремле».

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек». 1991. № 48. 1—48.

ОГОНЕК

МОСКВА



Наталья ИВАНОВА

№ 48 1991

ГИБЕЛЬ БОГОВ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 48

Издается с января 1925 года

Наталья ИВАНОВА

ГИБЕЛЬ БОГОВ

СТАТЬИ

Москва. 1991

Наталья ИВАНОВА

Наталья Борисовна Иванова — литературный критик. Окончила филологический факультет Московского университета и аспирантуру МГУ. Автор книг «Проза Юрия Трифонова» (1984), «Точка зрения» (1988), «Освобождение от страха» (1989), «Воскрешение нужных вещей» (1990), «Смех против страха, или Фазиль Искандер» (1990), литературно-критических и публицистических статей, печатавшихся в «Литературной газете», «Московских новостях», «Огоньке», «Юности», «Знамени», «Дружбе народов», «Новом мире», «Вопросах литературы», «Литературном обозрении», «Независимой газете», «Mégapolis-Express», а также во многих зарубежных периодических изданиях.

Член русского советского Пен-Центра, действительный член Европейского Центра культуры (Женева). Работает в журнале «Знамя» заместителем главного редактора.

ГИБЕЛЬ БОГОВ

История «Нового мира» еще не написана, и я хотела бы ее написать: от рождения до...? Вот именно. Журнал выходит с огромными трудностями. Чуть ли не с судорогами.

А что происходит с «Дружбой народов», отличавшейся в застойные времена замечательно смелыми, глубокими, серьезными публикациями? С «Вопросами литературы», которые в 70-е годы печатали эссе и размышления А. Битова и Г. Владимова, А. Кушнера и Д. Самойлова, Ю. Трифонова, Ст. Рассадина, Б. Сарнова? П. Палиевского, В. Кожина (Бог с ним, с «лагерем»)? Первыми осмелившиеся «руку поднять» на всесильную «секретарскую» литературу?

Прочтите вопль о помощи главного редактора «Воплей» (так с ласковой ужимкой, по-свойски называли между собой журнал его авторы), опубликованный в «Литературной газете», — и станет холодно и страшно.

Почему же все это происходит? Только ли из-за того, что бумаги не хватает, или есть тому какие-то существенные внутрилитературные причины?

Кончается журнальный период нашей словесности. Но, может быть, с ним уходит и нечто большее, чем журнальная форма? Вик. Ерофеев раздражил многих своими эпатажными, как и его проза, «Поминками по советской литературе». Поминки в пору устраивать по традиционной воспитательной роли русской литературы, которая была «нашим всем»: и политической трибуной, и философией, и социологией, и учительской кафедрой, и университетом.

И — по ее автору. Писателю того типа, который сформировался в период подавленных гражданских свобод и был для общества пророком, учителем, властителем дум.

И — по ее читателю: самому читающему в мире.

Итак, мы присутствуем при важнейшем историческом моменте: сломе литературной эпохи. Тотальном изменении роли самой литературы, роли писателя, типа читателя.

Предваряя конкретику, замечу, однако, что роли эти были мифоло-

гизированы. Но, поскольку мифологизированность является ключевой особенностью советской жизни, миф и стал нашей реальностью.

Итак, конец трех мифов.

Миф первый — о литературе. Недоступной. Спрятанной в укрытиях. Ждущей своего часа в ящиках писательских столов. Погибающей в секретных архивах. Если изданной, то (полностью) лишь на Западе. Насильственно разделенной на два русла. Разлученной с читателем. Многострадальной. Созданной мучениками-эмигрантами. Русской современной литературе.

Вот как выйдет она из подполья, как заявит о себе городу и миру, вот как опубликуем Булгакова... Солженицына... Алешковского... Платонова... Бека... Дудинцева... Твардовского... Прочтем, и все как один очистимся и изменимся.

Что же произошло на деле?

Да, опубликовали — с трудностями великими, преодолевая порой невозможное. ломая сопротивление больших и малых литературных (и нелитературных) начальников. Солженицына печатали в шести толстых журналах сразу. Опубликовали, кажется, почти весь «товар», и эмиграцию первой волны, и второй, и третьей. И по второму заходу пошли.

А реакция?

Переходим к мифу второму — о читателе.

Реакция какая-то неожиданно вялая вышла.

То есть сначала — читали, да еще как, взалхлеб; тиражи «толстых» литературных журналов к 1988—1989 годам подскочили невероятно; и глядя на шелестящие журнальные страницы в вагонах метро, хотелось плакать от умиления перед читателем.

Сердце-то, сердце какое он сохранил! И — разум! Не удалось разрушить его до конца господствующей «эстетикой» соцреализма...

Но после пика — шок: резкий, после скачка, спад интереса; равнодушие, даже нежелание читать и трудиться над текстом. Несмотря на героические усилия «Литературной газеты», настойчиво внушавшей всем, что активно идет «Год Солженицына», читательский опрос показал, что «Архипелаг ГУЛАГ» занял лишь пятое место по читательскому вниманию.

А на «Красном колесе» читатель и вовсе сник.

Наконец, миф третий — о писателе.

Сакральная роль писателя кончилась. На смену писателю, которому заранее прощали его литературный непрофессионализм, приходит профессионал-литератор.

Много винят в этом критику, бросившуюся в выяснение «тиражей и миражей», поднявшую «досье» как на секретарей, так и на нынешних демократов.

Не думаю, что вечно виноватая критика опять во всем виновата.

Процесс произошел объективный: писатель раньше аккумулировал в себе множество ролей — а нынче появились профессиональные философы, историки, социологи, политологи. Что же до писателя... Писатель остается всего лишь писателем. И попытка со стороны писателя дать «священные указания» выглядит — в новой исторической ситуации — нелепой.

Наши же писатели к такому изменению своей роли не готовы, смотрят вокруг себя растерянно и воспринимают случившееся болезненно — как покушение не столько на себя, сколько на святая святых. Во всем винят «рынок» (которого еще нет), «коммерцию» (которой тоже нет). А виноват не рынок и не коммерция, а... они сами. Гласность, за которую мы все так рьяно боролись, эту «священную роль» и уничтожила. Съела, «как чушка своего поросенка» (Блок о России — перед смертью: вот загадка для тех, кто борется с «русофобией»...).

Что же нам теперь делать?

На этот вопрос «петербургского юноши» лучший ответ дал в свое время В. В. Розанов: летом — варить варенье, а зимой — пить с этим вареньем чай.

Переводя на наш язык: писателю надо работать, писать, а не строить для народа глобальные планы, не спасать его, не выступать с руководящими указаниями, уже навывступались, и ничего хорошего своими выступлениями народу пока не принесли.

Вижу ли я ростки н о р м а л ь н о й литературы? Да, конечно. Особенно — в поэзии, которая — думаю, что к счастью для нее — оказалась как бы на периферии внимания критики и читателя последние шесть лет. Замечательно сказал Владимир Корнилов:

Публицистика рушит надолбы,
Настигает за гатью — гать.
А поэзии думать надо бы,
Как от вечности не отстать.

«Вечное» в поэзии — это не очередные гражданские (или «национальные») идеи, а *движение поэтики*. И сегодня «горизонтальный» спор «неозападников» и «неославянофилов» вытесняется спором профессионально-литературным, «вертикальным» — спором о традиции и новаторстве, о месте «классической» поэзии и поэзии постмодернизма. Почему я считаю этот спор конструктивным? Потому что в результате его появляются новые литературные тексты, а не реанимированные старые идеологемы.

В прозе идет движение поэтики в сторону разработки новых жанров, становления жанрового мышления у писателей, раньше «озабоченных» не столько жанрами, сколько объемами — длинным, коротким и средним. Это было ненормально и непрофессионально. Сейчас серьезный писатель стремится нащупать свой жанр: «поздняя проза» появилась

у Р. Киреева, «московские случаи» — у Л. Петрушевской, «сюры» — у В. Маканина.

В критике — процесс профессионализации идет пока на периферии «толстых» журналов, традиционно печатающих многословные, тяжело-зады, так называемые «проблемные» статьи вперемежку с «портретами». Чрезвычайно интересен опыт журнала «Искусство кино», расширяющего представления о критических методах. Методах, уводящих от описательства. Самое любопытное в критике сегодня — взгляд на литературу-идеологию сквозь призму поэтики; этим занимаются — и перспективно — С. Зенкин в своих «глоссах» в «Независимой газете», О. Давыдов (там же), О. Дарк, А. Зорин, Б. Кузьминский...

Сакрализация литературы была вынужденным историческим зигзагом, затянувшимся на десятилетия. Теперь место «священных коров» занимают реальные литераторы; а те, кто продолжает настаивать на своей «священной» роли, наоборот, вытесняются на периферию литературного процесса. Хотя они сами этого еще не понимают, не ощущают, что перемена функции уже произошла и что они выглядят, мягко говоря, смешно; и более чем неловко читать в «Слове к народу» рядом с подписями генералов от армии и МВД, партийных аппаратчиков подписи трех писателей — Ю. Бондарева, В. Распутина, А. Проханова.

С совершенно другой, казалось бы, стороны, но сходно по панической интонации звучит голос Александра Кушнера — в одной из литгазетовских статей он объявил нетрадиционную поэзию, в том числе и Айги, чуть ли не бездарностью и жульничеством.

И то, и другое — признак неистребимой «совковости», для которой нужны были писатели-герои, как «соц. труда», так и сопротивления.

А сегодня не «сопротивляться» следует и не раздражаться по поводу «холодности» публики нового, наступающего периода, а принять время с достоинством. Ведь и сам Кушнер прекрасно сказал: «Времена не выбирают, в них живут и умирают...»

Сейчас «архаисты» в своей позиции — Солженицын и Гранин, Кушнер и Куняев... Все они учат, и каждого отличают свои «котурны»: у кого лагерь, у кого русская идея, у кого традиционализм. Есть момент нервозности, даже истерики, и — оттенок насилия по отношению к читателю, агрессии — в проповеди каждого. «Думай, как я».

Помните, у в высшей степени ныне непопулярного Ульянова-Ленина есть статья «Как нам реорганизовать Рабкрин»? Так ведь и Солженицын учит: «Как нам обустроить Россию»...

Раздел нынче происходит между «архаистами» и «новаторами», «учителями» и теми, кто не учиться хочет (и продолжать учительство, нести «свет»), а литературой заниматься.

Десакрализация литературы одновременно является ее приватизацией. Литература восстанавливается в своих правах как частное, не зависимое ни от властей, ни от сопротивления им занятие. «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно... Скитаться тут и там...»

Тут и там — и скитаемся, «дивясь божественным природы красотам»: по Калифорнии и окрестностям Мюнхена, между Женевой и Вологдой, Цюрихом и Архангельском. «Заграница» тоже десакрализовалась — все ездят, и ко всем приезжают; идет взаимообмен, Витторио Страда и Жорж Нива — в постоянных авторах «Литературной газеты», а Е. Евтушенко с А. Вознесенским поочередно поднимают низкий культурный уровень Соединенных Штатов.

Десакрализации эмиграции — вот что воспринимается нами пока болезненно: мы так от вас ждали направляющего слова, рецепта, приезда навсегда, а чуда не получилось. Помните, как у Достоевского Грушенька отвечает Катерине Ивановне, поцеловавшей ей в порыве сильнейшем, эмоциональном, руку, — а я вам ручку-то и не поцелую.

Так нам «не поцеловал» ручку А. И. Солженицын. Совет, мол, я вам дам, вы вообще страна советов, а с приездом пока погожу. И другие — тоже годят, но не в укор я это им говорю, в отличие от А. Латыниной, а по-человечески очень даже хорошо их понимаю. Ибо возвращаться навсегда в страну, где тебя били сапогами по почкам, допрашивали, мучили, держали без еды в ШИЗО, очень трудно. Думаю, что сравнивать нашу страну (и наше общество) со странами Восточной Европы абсолютно некорректно, ибо там рухнула коммунистическая система (включая «их» органы), а у нас она «в законе» (как стал КГБ). И удивляться тому, что к нам, видите ли, не едут или если едут, то не со всеми потрохами, даже как-то стыдно, памятуя о том, сколько лет эти люди были лишены возможности нормального общения со страной. А мы об этом помалкивали, комфортабельно расположившись в редакциях и уютных московских квартирах. Теперь же, однако, объявили тех, о ком опасливо помалкивали, даже личными «друзьями»...

Что же касается советов... Да советы ли это — или ответы на распросы назойливых корреспондентов? Эмигранты ведь тоже разные, и ответы у них — разные (как и судьбы, и идеи). И не надо каждый ответ примеривать к нашему будущему, пора привыкать к очень некомфортабельной мысли о том, что не «властители дум» будут за него нести ответственность — в том числе и перед нашими детьми, — а мы с вами. Сами.

А то мы опять — всё на кого-то обижаемся... Всё от кого-то чего-то ждем... Вот приедет барин (Буковский, Зиновьев, Синявский, Солженицын)...

А он не едет. Или заезжает — на время.

Когда кончилось крепостное право, Герцен тоже не вернулся в Россию.

А мы...

Все кого-то хотим уязвленным нашим самолюбием задеть, комплекс неполноценности изжить. Ведь скребет нас, плохо нам, стыдно. Ведь молчали! Лжи — способствовали! На площадь — не выходили! Как же нынче желчи не разыграться: может каждый сказать о нас:

не-пра-вед-но жили! А мы возьмем да докажем: пра-вед-но, ибо молчали, но внутри... что делалось внутри... в нашей внутренней свободе... Словом не выразишь!

А сегодня нам — брезгливо пальчик отставим — и Аксенов, видите ли, скучен, и Войнович надоел! Иное дело — читывали, да зачитывались, когда запрещено было. (И ведь невдомек, что тогда это все можно было читать лишь двум категориям лиц: либо связанным с диссидентским кругом, либо связанным с КГБ. А сегодня, наконец, допустили к чтению миллионы.)

Так мы должны, обязаны доказать и другим, и прежде всего себе, что жили мы не напрасно и внутреннюю свободу свою сильно укрепили не вопреки, а благодаря... то есть наоборот, не благодаря, а вопреки...

Впрочем, тут мы окончательно запутываемся — при всем своем лукавстве.

Ибо: о правдании уютной своей жизни ищем, самооправдания жаждем, а его нет. В природе не существует.

Нет, и все тут.

Что бы сегодня ни нес В. Буковский (а он не «несет», а дело говорит, ибо пока народ не проснется, так гнить и будем — среди гнилых помидоров!), какие бы неуклюжие, как иным кажется, советы ни давал А. Солженицын, как бы скучен ни показался В. Максимов, нам придется все это вытерпеть.

Да, спорить, отстаивать свою точку зрения на будущее России, да, не соглашаться... Но: не требовать от них ничего.

Требовать — от себя.

Тем более что время вместо-литературных поучений и претензий, по-моему, все-таки кончилось.

Июль 1991

ПРОЩАНИЕ С УТОПИЕЙ

Прежде всего — о жанре нашего собственного поведения. И — о нашей самооценке. Есть ли нам, интеллигенции, сегодня чем особенно гордиться? Думаю, вряд ли. Кокетничать собственной ролью в прогрессе отечественной журналистики я бы не стала, ибо какие уж из нас Мусины-Пушкины...

Ранней весной 1986 года ко мне в «Знамя» зашел Николай Тюльпин, ранее со мной незнакомый, выпил крепкого редакционного чаю, рассказал о рукописи «Ювенильного моря» А. Платонова. Назавтра принес. Через три месяца — напечатали. Потом аналогичным образом принес уже в «Дружбу народов» рукопись «Чевенгура». Вот Тюльпин — рисковал. Не тем, что он станет «героем очередного визгливейшего скандала», а просто — мог за все эти (и другие) рукописи отправиться

в лагерь. Но он, повторяю, рисковал, и прекрасно рисковал, и я всегда ему буду благодарна за то, что он мне поверил, и надеюсь, что в городе Париже, где он сейчас обитает, он об этой моей благодарности прочтет.

Утверждать, что «все мы» (как я недавно прочитала в одной из литгазетовских статей), начиная с 1918 года, «были рьяно вовлечены в процесс построения эпического государства», что «д в и г а л а н а м и именно эстетика эпоса», — это значит отождествлять народ («всех нас») с идеологией государственного большевизма. Думаю, что и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Колымские рассказы», и «Жизнь и судьба», и «Факультет ненужных вещей», и «Крутой маршрут» свидетельствуют об обратном. Не «эстетика эпоса», а властная диктатура уничтожила десятки миллионов лучших людей нашего народа. И если говорить о жанре, то это была чувственная трагедия народа, «в с е х н а с» — крестьянства, интеллигенции, рабочих, превращаемых не только в жертв, но и в палачей. А господствующая идеология именно и объявляла это «строительством эпоса».

К а к о й же нынче жанр к нам приходит и какой, унаследованный от прошлого, напротив, вытесняется из нашей жизни, вынужденно покидает ее? Хотя и продолжая (я покажу это чуть дальше) оказывать чрезвычайно серьезное сопротивление? Какая идет борьба, схватка жанров в реальности — и в нашем сознании, как общественном, так и индивидуальном?

Т а к в о т: о р о м а н и з а ц и и л и сознания свидетельствуют происходящие в обществе и литературе тектонические сдвиги? Роман ли стал главенствующим в текущей сегодняшней, «горячей» жизни и литературе? О романном ли мышлении говорят проявившиеся — повторяю, и в жизни, и в литературе — наркоманы и мафиози, проститутки и подпольные миллионеры, бездомные и нищие? О романном ли мышлении свидетельствует реабилитация ранее запрещенных книг, многие из которых написаны в жанре романа?

Идеологическим обструкциям, арестам, высылке, эмиграции подвергались не только люди, но и книги. Романы «Доктор Живаго» и «Жизнь и судьба» сами становились героями нового романа — романа о романе. По-настоящему романной историей мне представляется судьба гроссмановского детища — с «высочайшим» запретом, предсказанным (хоть и «от противного») — будущим (все-таки «опубликуют») — добавлено: «лет через двести»), укрытием последней авторской редакции где-то в Клину; передачей фотокопии через границу; с целой цепочкой людей, помогавших если не автору, то роману выжить; с драматической смертью самого автора, с историей публикации романа — сначала в Швейцарии, потом, через целую эпоху, — в Москве; наконец, с яростными нападками шовинистов уже п о с л е публикации этой многострадальной вещи; с борьбой против «Октября», осмелившегося «Жизнь и судьбу» напечатать... Это ли не роман?

А вся история «Доктора Живаго» — от самого его создания, от замысла, выросшего, на мой взгляд, из чувства горчайшей, глубочайшей неудовлетворенности Пастернака своей собственной биографией, по его мнению, благополучной — да и впрямь благополучной, ежели сравнить ее с судьбой погибшего Мандельштама, с отчаявшейся за жизнь собственного сына Ахматовой, покончившей с собой Цветаевой... Нет, не просто из соображений эстетики постоянно отвергал Пастернак себя-самого-прежнего. Он — в действительности — не был «удостоен» жизни той, которой он наградил своего героя, Юрия Андреевича Живаго, и все-таки воссоздал эту жизнь и эту смерть в августе 1929 года: смерть в отсутствии свободы, когда уже в воздухе России нечем было дышать. И своим романом Пастернак как бы вызвал на себя ту грозную историческую судьбу, которой он жаждал, и потому в тяжкое время травли он испытывал чувство не только счастливой завершенности своего труда, но и своей завершенной судьбы. Судьба его романа стала для него искуплением — выступлениями на конгрессах, дачи в Переделкине, квартиры в Лаврушинском; наконец, белой скатерти и грузинских вин — той вины, которую он всегда ощущал. Вины перед памятью Тициана Табидзе и Паоло Яшвили, Бориса Пильняка и Андрея Платонова. Повесившегося Есенина и застрелившегося Маяковского.

Это ли не сюжет для не написанного еще романа о романе?

Романные истории нам, увы, постоянно предоставляла сама действительность. Вот наше русское «счастье». Но проза не спешит воспользоваться этими (или подобными им) сюжетами, оставляя их пока для литературоведов и критиков.

Если же говорить о жанре, овладевающим не только нашими умами, но и самой жизнью, о жанре, к которому как бы устремляется сознание многих литераторов без различия «партий» и группировок, то это жанр антиутопии. Когда в Москве пару недель тому назад произошло к тому же реальное землетрясение (хоть и не с разрушительными, слава Богу, последствиями), это был приговор окончательный: прощай, утопия. Антиутопия, здравствуй!

В течение целых десятилетий общество было втянуто в жанр реализуемой утопии. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» — не только песня, но и программа мифического «светлого будущего». Утопическое сознание — вот главный источник и главное наследие тоталитаризма, от которого мы не можем избавиться и по сей день. Утопизм стал официальной религией страны, утопизм, извративший все понятия о нравственности, о свободе, о цене человеческой личности, о человеческом достоинстве. При господствующей доктрине «светлого будущего» невозможно было апеллировать к тяжелому настоящему — оно предполагалось лишь подножием, ступенькой к сияющим вершинам грядущего, За обещанное в будущем земное «царство» народу приходилось платить ужасную цену.

Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое клянчу, как нищий царь...

А. Платонов в гениальном своем «Чевенгуре», одновременно и утопии, и антиутопии, смог показать, что означает в реальности эта втянутость в будущее, попытка перескочить в иное время, каковы последствия отказа от органического развития, насильственной революционизации страны.

Разъезжающий по России на могучей лошади по имени Пролетарская Сила степной большевик Копенкин командует: «Закончи к лету социализм!»

Новые люди в «Чевенгуре» переименовывают не только действительность, но и себя самих. Таким образом появился и новый Достоевский, который «окончательно увидел социализм. Это — голубое, немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав. Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий, жизнь настолько счастлива, что — бесшумна. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский; и вот — он сидит сороковые сутки без сна и в самозабвенной задумчивости; чистоплотные, красивые девушки приносят ему вкусную пищу — борщ и свинину, но уносят ее целой обратно: Достоевский не может очнуться от своей обязанности. ...Достоевский корябнул ногтем по столу, как бы размежевывать эпоху надвое:

— Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!»

А. Платонов описал эти чудовищные попытки «построения социализма к лету» в отдельно взятом городе Чевенгуре. Для начала — надо было вывести за околицу всех «буржуев» и расстрелять их. Расстреляли. Потом объявили нормальный труд пережитком темного прошлого и отказались от «эксплуатации». Работали только по субботникам — перетаскивая дома и деревья с места на место («я знаю — город будет! Я знаю — саду цветь!»).

Самое страшное в утопии, заметил еще Н. Бердяев, состоит в том, что она может быть реализована.

Реализация утопии приводила к обратному эффекту — к господству в жизни антиутопии. При этом запрещались не просто отдельные книги — запрет был наложен на весь жанр антиутопии. Народ жил в нем, в этом жанре, но знать и думать об этом было запрещено.

Провидческую антиутопию создал Е. Замятин («Мы»), еще в 1921 году блестяще изобразивший мыслимые и немыслимые последствия претворения коммунистической утопии в жизнь. Элементами антиутопии пропитаны «Роковые яйца» и «Собачье сердце» М. Булгакова.

Катастрофическому воплощению утопического замысла посвящен не только платоновский «Чевенгур», но и «Котлован», антиутопические мотивы пронизывают его же «Ювенильное море». Духовная судьба мышления Платонова в принципе являет собою путь прозрения, отказа

от утопического мышления, бывшего для молодого рабочего своеобразным символом веры.

Жили мы в антиутопии, принимая ее за утопию. Причем это раздвоение бытия и сознания шло с самого начала. «Великий кремлевский мечтатель» в действительности, в указаниях послереволюционного периода, например, в «Предложениях о работе ВЧК», в «Дополнении к проекту вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР», постоянно настаивал на «расширении применения расстрела». При этом стиль ленинского мышления оставался утопическим: он считал совершенно ошибочным мнение, будто «единоличная диктаторская власть не совместима ни с демократизмом, ни с советским типом государства, ни с коллегиальностью управления» (вариант статьи «Очередные задачи Советской власти»). Народ не только уничтожался именем народа — было отравлено утопией, раздвоено и его сознание. Литература официальная немало потрудились для этого. Поэму Маяковского «Хорошо!» стоило бы издать вместе с документами 20-х — 30-х годов, со статистическими данными о жертвах организованного голода, например.

Утопическое сознание, став массовым, тем не менее постоянно сталкивалось с крайне неудобной реальностью, еще ой как далекой от царства справедливости. И здесь на помощь утопии пришел еще один жанр — детектив. «Враг» не был «врагом» эпическим, а был «врагом» примитивного детектива; размах «поисков врагов» захватил даже детей, о чем свидетельствуют рассказы Искандера о Чике, чье детство выпало на страшные 30-е годы. «Шпионы бродят по стране», — сообщают друг другу дети и начинают с увлечением не только искать «шпионские знаки» на собственных тетрадках, но и ловить на улице отдельных взрослых, которые чем-то (например, очками) вызывают их подозрение. И роман Н. Нарокова «Мнимые величины» интересен и в жанровом отношении, ибо это... антидетектив. Трагическая пародия на детективное мышление — с персонажами, заимствованными у него же.

Страна с высланной за рубеж или расстрелянной интеллигенцией, уничтоженной аристократией, обезглавленным крестьянством, деклассированными, полуграмотными рабочими, превращенными в палачей всех остальных; страна с нарушенным генофондом, разрушенной культурой не способна была воспринять другой жанр, кроме детектива. Она могла верить только в шпионский заговор. И детектив был ей предложен — с разветвленными шпионскими сетями, диверсионными планами, политическими кровавыми убийствами, террористическими актами. Не «остров Утопия», а гигантский «остров СССР» со всех сторон был окружен «злыми врагами». Они же тайно «вредили» народу и внутри этого острова.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

«Нам нет преград ни в море, ни на суше».

«Мы кузнецы, и дух наш молод, кумем мы счастья ключи...»

Выковали. Только не ключи, а оковы; не только для тела, но и для духа: Сталин виноват... нет, Ленин виноват... евреи виноваты... Нет, русские виноваты... Кто? Да все мы вместе (да, все мы) и виновны! Но осознать это трудно, почти невозможно, так как яд тоталитаризма проник в нашу кровь, отравил наше сознание. У нас всегда будет виноват кто-то другой, а не мы. И в нашем конформизме будет вечно виноват кто-то другой (например, «строительство эпоса»).

Тоталитарно-утопическое сознание стало массовым — и отказаться от него не в силах был ни Хрущев, объявивший построение коммунизма к 1980 году («еще рожь не поспеет...»), ни интеллектуалы-шестидесятники. Новая программа КПСС 1961 года была не более чем н о в о й редакци ей утоп и и: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества» — это ли не дочерняя ветвь идеи мировой революции, носившей отчетливо утопический характер?

Утопизмом отличалась не только партийная программа, но и... программа журнала «Новый мир» 60-х годов. «... Никто в России не подходил так близко к коммунистическим идеалам, — справедливо отмечают П. Вайль и А. Генис в своей работе «60-е», — как авторы и читатели «Нового мира». Писатели, критики, ученые, печатавшиеся здесь, создавали немыслимый симбиоз веры и правды — они знали, как есть, и верили, что так не будет... В сложном деле строительства идеала всё и все должны участвовать в общем труде. Рычаги коммунизма — это и космонавт, и балерина, и сам критик, и персонажи, с которыми он имеет дело. Стратегия определяет тактику, цель — средства». Ради выполнения высоких стратегических задач, например, утописты и романтики-шестидесятники использовали, е с л и н а д о, и определенный набор цитат «классиков марксизма-ленинизма», побивая им набор цитат противника. Романтическая утопия 60-х протягивала руку утопии 20-х: «И комиссары в пыльных шлемах склоняются тихо надо мной...» И, я думаю, совершенно не случайно, несмотря на определенные цензорские послабления, великие антиутопии XX века до последнего времени оставались под запретом.

Запрет на жанр был преодолен только в 1987 году. С этого времени антиутопия лавинообразно идет к читателю, воссоединяясь, как точно заметили Р. Гальцева и И. Роднянская, с печатавшимися буквально в тех же номерах «толстых» журналов художественными свидетельствами об антиутопической советской реальности: «1984» и «Скотный двор» Дж. Оруэлла одновременно с «Колымскими рассказами» В. Шаламова, «Мы» Е. Замятина и «Собачье сердце» М. Булгакова с «Факультетом ненужных вещей» Ю. Домбровского, «Прекрасный новый мир» О. Хаксли с «Архипелагом ГУЛАГ» А. Солженицына, «Большим террором» и «Жатвой скорби» Р. Конквеста, «Слепящей тьмой» А. Кестлера.

Ожидая от литературы «текущей», что она нам поведает о нашем дне, о процессах, идущих в стране сегодня, мы получили... опять анти-

утопию, то есть настороженный, упреждающий взгляд в ожидаемое будущее. Бестселлером стала антиутопия А. Кабакова «Невозвращенец» — надо отдать должное автору, почувствовавшему еще в 1987 году то, что раздирает страну сегодня. Ведь это сегодня почти каждодневно в стране льется кровь человеческая — Сумгаит, Фергана, Тбилиси, Баку, Ош... Сотни жертв. Число беженцев исчисляется сотнями тысяч. Пожилая армянка, потерявшая голос, показывает следы измывательства. А мы смотрим на это по телевизору, пьем чай, потом ложимся спать, а утром отправляемся как ни в чем не бывало на службу. Тут уж и вспомнишь Лизу Хохлакову из «Братьев Карамазовых» — младенца будут убивать, а я компот ананасовый есть буду... И ничто в нас не содрогается, мы не плачем, не кричим, не защищаем! Разве мы — люди? Людей вешали, сжигали живьем в кострах, рубили на части, насиловали, сбрасывали из окон квартир, подвергавшихся разграблению. Мы так и не осознали до сих пор, в какой реальности мы живем. Преступность за пять месяцев этого года выросла в несколько раз по сравнению с пятью месяцами предыдущего. Поход в магазин за продуктами превратился для миллионов людей в о х о т у против других. Агрессивность в обществе возрастает, и где ее пределы?..

Открываю газету «Известия» и читаю подпись под фотографией, на которой изображены растерянные, удивленные малыши, держащие по яблоку. Читаю подпись: «Работники одного из отделов Калужского НИИ... собрали деньги, заработанные от субботника, закупили на рынке свежих яблок, помидоров, чернослива, кураги, арахиса и привезли все это в детский садик деревни Мелихово... Дети, живущие в деревне, где дефицитом считаются даже рыбные консервы, смогли полакомиться недоступными для них продуктами». Вот эту картинку с подписью надо носить на сердце всем нам, вот наш грех, это же наши дети, в чеховской деревне, с недоступными им яблоками!

Разве это роман? Это самая настоящая, страшная антиутопия. Да еще и дети-то — из района, пострадавшего от Чернобыля.

За антиутопией А. Кабакова последовала антиутопия Л. Петрушевской — «Новые Робинзоны, или Хроника XX века». Но кто к ним прислушивается? Только ли мы, читатели? Или — и руководители партии и правительства, опять обещающие — хоть теперь уж и не рай земной, а стабилизацию — через 2—3 года? Неужели они не видят, что предпринимаемые ими заявления, обращения, всяческие полумеры пока лишь усугубляют тяжкую ситуацию?

Еще в статье 1987 года («Знамя», № 1) я сказала о наступлении катастрофического времени. Не о словах своих я жалею, а о том, что они оправдались.

Да, мы продолжаем жить в антиутопии, и литература — честная кричит об этом, но упоенные словесами практически не слышат ее сегодня.

Выход из антиутопии может, на мой взгляд, быть только в демократию и свободу. Для человека — и для народа. Польша, Чехословакия, Германия — живые современные примеры такого пути. Только Польше, как мы шутили, для этого потребовалось десять лет, Чехословакии десять месяцев, а Германии — десять дней. Сколько же потребуется нам? Или же империя, создававшаяся ценою миллионов человеческих жизней, при своем распаде унесет тоже миллионы жертв?

Настойчиво предлагается сегодня и другой, как модно говорить, альтернативный путь: усиление централизации через укрепление «национального идеала», способного «открыть в нас океан энергии», через новое армейское «богатырство», способное на «великое мировое деяние» (опять — мессианская утопия, только теперь уже по А. Проханову). Если «случится страшная, невысказанная для русского сознания беда и расколется государство», то есть всякий народ обретет право на реальную самостоятельность, если «мы не в силах отговорить прибалтов, стремящихся в хаос восточноевропейской политики», то «пусть уходят», а мы, воплощая «русскую идею» политически, возродимся через «партию национального возрождения», которой «могла бы стать Российская коммунистическая партия», соединенная с армией, которая нынче «выдворяется из Европы ударами сухих кулачков новоявленных восточноевропейских политиков». «Разрушены буферные зоны... Армии необходимо вернуть ее идеологическое содержание — идеологию национального спасения и национального возрождения». В национал-утопии Проханова армия «должна резко включиться в общественно-политический процесс».

Только вот как это самое «резко» произойдет на деле, каков сценарий включения — об этом пока автор статьи «Заметки консерватора» («Наш современник», № 5) не сообщает. Не попытаются ли подстрекаемые им силы реализовать этот сценарий?..

Самое главное, на чем он настаивает, — это триада: государственность — армия — церковь. Это ли не очертания новой казарменной антиутопии, только исключительно в российском стиле?

Черты антиутопии не остались в историческом нашем прошлом, не исчезли вместе с концлагерями и психушками. Они, эти черты, растворены в нашей реальности и в нашей крови, и только наша эйфорическая глупость, глухота и слепота не способствуют их различению.

Ни какой грядущей «симфонией», ни каким «синтезом» романа с эпосом я сегодня читателей, как и саму себя, утешить и порадовать не могу. Для того, чтобы вырваться из реалий антиутопии, путь один: полный отказ от утопического сознания, характеризующего «гомо советикс», полный разрыв с утопически-мессианской идеологией, направленной как в «светлое будущее», так и в идиллическое «национал-прошлое». Вместо одного «острова Утопии» мы уже получили целый архипелаг — ГУЛАГ. А сегодня?

Стоит село
невесело,
петух поет,
а народ не встает.

Ели, пили,
прибрать забыли,
а шли спать —
некому встать.
Кричит петух,
а народ-то глух,
хоть кричи, хоть вой —
ни души живой.
...Поля все светлей,
кличет Див с ветвей,
Дева ли Обида,
а тут панихида.

(О. Чухонцев)

Отказ от Утопии — не только наша проблема, это проблема общая для всех переходов от тоталитаризма к свободе. Мексиканский писатель Фуэнтес говорит о том же самым в связи с последним романом Гарсиа Маркеса: «...садить Латинскую Америку с коня вековой навязчивой идеи Утопии. Утопия для Латинской Америки — прекрасная мечта и тяжкая ноша. Гарсиа Маркес расправляется с обеими: уходит в могилу брренное тело генерала и предательски тащит за собой несбывшуюся политическую мечту беспокойного ума».

Пора понять, что утопия как идеология и антиутопия как реальное следствие господства утопии скованы одной цепью; и если мы не хотим больше жить в антиутопической действительности, пора похоронить это «брренное тело» вместе с «мечтой беспокойного ума». Английский историк Чэд Уолш все-таки недаром назвал свою книгу об этом жанре «От утопии к кошмару».

Прощай, Утопия!

Январь 1991.

НАУКА НЕНАВИСТИ

1. «Наши деды били этих дворян...»

Лето 1990 года было жарким отнюдь не по погодным условиям. Фактическая война на границе Армении и Азербайджана; сотни человеческих жертв межнациональных столкновений в Оше; обвалы и взрывы в шахтах (и опять — жертвы, только уже не националистически-звериной агрессивности, а чудовищного состояния техники); эпидемия захва-

тов и угонов гражданских самолетов с заложниками-пассажирами; дерзкие побеги уголовников при разгильдяйстве стражи... Газеты и телевидение постоянно прибавляли информацию об очередных (но не ставших от того привычными) событиях: наводнение в московском метро; убийственный вирус, возникший в метро ташкентском; смерть от чумы в Гурьевской области; эпидемический очаг холеры в Ростовской; отравление воды в Уфе фенолом... И надо всем кровавым, отечественным кошмаром, который оттенялся какими-то даже для нашего, ко всему, казалось бы, притерпевшегося сознания экзотическими вещами — то введением карточек на хлеб в Тарусе, то «табачными бунтами» в Ленинграде и Москве, — повис общепланетарный кошмар: угроза глобального военного конфликта. Хусейн, похожий одновременно и на Сталина, и на Гитлера, гладил по головке дрожащего английского мальчика, а население Израиля уже примеряло противогазы на случай химической атаки, зловеще обещанной со стороны Ирака. Напряженность возрастала день ото дня; и, слушая «сводки с полей», люди опять вздрагивали от фронтовой лексики: опять шла «битва за хлеб», опять считались «потери». Нет, не спокойное, не мирное стояло лето от Рождества Христова 1990-е.

На фоне этой стремительно раскручивающейся пружины событий то, что происходило в Кремле на заседаниях Российской партийной конференции в конце июня, может сегодня показаться сугубо умозрительным. Партийные работники, составлявшие большинство из делегатов этой конференции, самозванно переименовавшей себя в съезд, соревновались в аргументации по поводу «социалистического идеала», до хрипоты отстаивали идею «коммунистической перспективы», спорили о формулировке «демократического централизма», примеривали к слову «социализм» один эпитет краше другого, последними словами кляли средства массовой информации. Одни делегаты кричали, что «мы проиграли битву за социализм», пугали себя и окружающих «буржуазным перерождением»; другие — например, главный редактор «Советской России» В. Чикин, пытаясь накинуть петлю на идею суверенитета России, который буквально в нескольких шагах здесь же, в Кремле, декларировали российским парламентом, — предлагали: «...Надо подумать нашему ЦК, чтобы буквально с первых шагов, когда мы его образуем, создать отдел, который бы занимался проблемами нашего парламентского действия», — то есть, проще говоря, взять Ельцина и его команду под партийный контроль. Идеология и жизнь стремительно разбегались по противоположным направлениям. И тем не менее от газет и телеэкранов мы не отрывались, испытывая своего рода мазохистские чувства, — становилось даже интересно, до какого края этот отрыв идеологии от жизни может дойти.

Но одна немаловажная черта конференции-съезда, увы, была близка к ней, к жизни. Агрессивность. Агрессивны были многие ораторы по отношению к руководству «апрельского» призыва и по отношению ко

всем новшествам переживаемого нами за последние годы периода. Но самое главное — и самое печальное — состояло в том, что крайне агрессивен был зал: затапывал, шумел, обрывал, не давал высказать мнения, которое большинству сидящих в зале было «не по нутру». Агрессивность носила явно устрашающий характер. Но вот какая поразительная вещь: чем больше зал набирал в агрессивности, призывая к укреплению «авангардной роли в обществе», тем все более скептическими становились ответы на социологические опросы, публиковавшиеся во время работы съезда в «Известиях», «Комсомольской правде», «Московских новостях», «Московской правде» и других изданиях. А после того как были обнародованы результаты выборов и лидер новой партии занял место в президиуме съезда, начался просто-таки скандальный по масштабам исход из рядов КПСС, сопоставимый только лишь с нарастающей в геометрической прогрессии эмиграцией из СССР.

Почему столь сильной была и идеологическая, и даже психологическая реакция людей — того самого народа, которым постоянно заклинали сами себя многие из ораторов, как они выражались, «плоть от плоти народа»? Вот, например, секретарь Кемеровского обкома прибег в своей идеологической речи даже к образному, художественному, можно сказать, сравнению (это единственный пассаж его выступления, с которым трудно не согласиться): «Жизнь наша — бурное море, и наша партия — как корабль в бурном море». Правда, сразу вслед за этим «образом» не лишенный поэтической струнки секретарь (видимо, если у И. К. Полозкова хобби — это рисование, о чем он скромно поведал залу, то у А. Г. Мельникова — чтение Ветхого Завета) «извинился» вот за какое сравнение: «...У нас (у партии. — Н. И.), как на Ноевом ковчеге, собрались «чистые» и «нечистые», сидят на веслах слева и справа». Развивая эту метафору, хочу заметить, что число «нечистых» в обществе, видимо, намного превысило ожидаемую цифру; и тут уже на все общество была брошена тень «оболванивания» известно кем — «желтой прессой», всякими там, с позволения сказать, газетами, поддерживающими тех, кто «плохо выговаривает слово «российская» (из выступления Н. Тюлькина), в противоположность «краснодарской сотне» (еще один впечатляющий образ из выступления И. Полозкова). Ораторы, отстаивающие «чистоту», ответили «нечистому» обществу, почувствовавшему наконец возможность идти путем демократических преобразований, наклеиванием ярлыков, зловещие последствия которых хорошо знакомы со сталинских времен: «сгущается тень ликвидаторства», «тень злой митинговщины», «провокационных законопроектов», «ликвидаторы беззастенчиво действуют по старой методике» (В. Чикин). Желали они «предельно слиться с трудовым народом», «вывести» его, народ, к «осознанному строительству своего будущего» (В. Чикин), «не уступать авангардных позиций новым политическим силам, нарождающимся на волне демократизации» (А. Мельников); поэтически живописалась отчаянно труд-

ная работа партаппаратчиков: «Партийный актив, преданные делу партии люди сбились с ног, объясняя и разъясняя противоречивые решения центра, и, получив клеймо аппаратчика... начинают разбегаться», — а упрямый народ никак не отвечал взаимностью, не ценил партийной о нем заботы и всячески норовил обрести независимость, выйти из-под опеки «сбившихся с ног». Как в старом анекдоте: осталось уговорить губернатора...

Звучали на конференции-съезде и вполне трезвые слова: «Авангардная роль не может быть провозглашена» (Г. Гришук, зам. директора Воронежского объединения «Электроника»), — но они тонули в демагогии, упорно поворачивающей к «светлому прошлому» тотального господства партийного аппарата. В целом нельзя было не подивиться железобетонному упорству сложившихся (слежавшихся?) стереотипов. В обществе уже несколько лет, причем совершенно с разных сторон, и «справа», и «слева», идет, скажем, историческое переосмысление гражданской войны, а генерал Макашов, определяя людей, отстаивающих общечеловеческие ценности, как «слабоумных», «слепых» или даже «злоумышленников», под бурные аплодисменты делегатов заявляет: «Наши деды били этих дворян на всех фронтах гражданской войны». Генерал пугал «идеологическим противником», который только и знает, что «вбивает клин между рядовыми и офицерами», то есть опять-таки между народом и руководством! А Т. Ляпакова, зам. директора школы из Вологодской области, прямо взяла на себя роль народоветельницы, пугающей перспективой русского бунта. Вот тут чуть остановимся: это выступление характерно слиянием «национального» и «партийного» начал: «Пора прекратить внушать русским комплекс вины и национальной приниженности, подрывать национальное самосознание... Надо почувствовать, что гнев на сердце копится, терпению есть предел».

Телевидение не показало, аплодировал ли учительнице генерал, а генералу — учительница. Но я почему-то в этом не сомневаюсь. Ибо пафосом обоих выступлений было: да, рубали, и если надо, рубать будем! И никто из «бурно аплодирующих» не содрогнулся в этот момент военизированного шквала агрессивных эмоций, не представил себе воочию тот тяжелейший урон, который нанесла гражданская война России.

Как же формировалось это сознание, позволяющее и сегодня с легкостью необычайной манипулировать «терминологией» (помните знаменитое стихотворение М. Волошина) гражданской войны, — «ликвидировать», «боевитость», «без боя сдавая свои позиции», «руководство КПСС обрело ее (партию. — Н. И.) на положение безоружно сидящей в окопах под массивным огнем?»

Формировалось оно не только «на фронтах идеологической борьбы», но и советской литературой, изучавшейся в программах школ и институтов. В отличие от литературы «абстрактного гуманизма» она отстаивала другие ценности. Попробуем ее перечитать.

2. «Откройте артиллерийский огонь!»

Литература, как известно, в течение десятилетий рассматривалась официальной идеологией как приводной ремень политики партии и была особым предметом ее неусыпной заботы. Весь вопрос в том, когда же эта работа началась.

В последние годы в либерально-марксистских кругах получило широкое распространение мнение о том, что в работе Ленина «Партийная организация и партийная литература» речь идет о партийной публицистике. Ленинский текст эластично поворачивался в угоду той или иной злободневной концепции: если надо — ужесточался; если время либеральное — либерализировался. Однако, вчитываясь в знаменитые строки, я не обнаружила никаких указаний на подобное ограничение. Ленин пишет не о публицистах, не о журналистах, а именно о «литературном деле». «...Для социалистического пролетариата, — замечает он, — литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных. Долой литераторов-сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного-единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем созидательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы». Соотнести эти слова и лозунги с публицистикой не представляется никакой возможности. «Литераторами-сверхчеловеками» Ильичу могли представляться символисты, декаденты, писатели-нищезанцы, но никак не журналисты. Ограничение смысла этих слов исключительно журналистикой является ни чем иным, как «прогрессистской» тактикой (залучим Ленина в союзники), а тактика оборачивалась очередным «прогрессистским» самообманом, за который неоднократно «прогрессисты» и бывали наказаны историческим поражением.

Полагаю, что гораздо более близок к ленинской мысли был автор статьи «За высокую идейность советской литературы», открывавшей сборник статей журнала «Звезда», в спешном порядке и для самобичевания выпущенный в 1947 году вскоре после известного постановления ЦК. Сборник назывался просто: «Против безыдейности в литературе». «Ленин и Сталин, — писал открывающий его А. Еголин, — создали учение о партийности литературы, о литературе как составной части народной задачи революционного преобразования жизни». И дальше: «Положение о партийности литературы основано на марксистско-ленинском учении об обществе и формах общественной идеологии... Принцип партийности способствует правдивости художественного творчества, помо-

гает выражению ведущей тенденции современной эпохи». Ленинские положения в точности подтверждают эти слова. «Идея социализма и сочувствие трудящимся,— замечает далее Ленин в указанной статье,— будут в е р б о в а т ь новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине *, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся...» (разрядка здесь и далее моя.— Н. И.).

Да, были правы все-таки Еголин и стоящий за ним Жданов, а не наши «шестидесятники»: «Ленинизм признает за нашей литературой огромное общественно-преобразующее значение» (Жданов А. А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград»).

Что это означало на практике — «общественно-преобразующее»?

Прежде всего революционную борьбу. Если в революции осуществлялась борьба пролетариата с враждебными классами, то в уподоблявшейся ей советской литературе — «борьба с враждебными, реакционными течениями: с эпигонами декадентства, символизма, с литературными группами «Серапиевны братья», «Перевал», прикрывавшими свою реакционную сущность лозунгами независимости литературы от политики». Тезис об обострении классовой борьбы прямо накладывался и на литературу, и в 1947 году утверждалось: «Было бы ошибочным считать, что борьба с реакционными течениями и сегодня является для нашей литературы пройденным этапом» (А. Еголин).

Превосходство советской литературы над всеми остальными литературами всего мира обосновывалось ее «высокой идейностью». А советские писатели постоянно обязывались «неустанно будить в читателе желание воспитывать в себе лучшие черты», «вести б е с п о щ а д н у ю разоблачительную работу», выполнять «ответственные задачи передовых борцов на идеологическом фронте».

Эта «борьба на фронте» обосновывалась тем, что, мол, «в истории мирового искусства не было случая, чтобы старые художественные школы добровольно и мирно уступали место новой литературе». Это потрясающее по откровенности и цинизму навязывания литературному мировому процессу революционизма «наблюдение» принадлежит Л. Плоткину, тому Плоткину, о котором Ахматова, по воспоминаниям современников, говорила: «Плоткин на мне построил дачу...» Тот же автор в конце статьи «Проповедник безыдейности — М. Зощенко» т р и ж д ы называет своего героя «антисоветским». Поэзия Ахматовой названа еще похлестче: «антинародной»: Зощенко причислен к вредителям: «В последние годы он продолжал в р е д н у ю с в о ю р а б о т у, м о р а л ь н о и д у х о в н о р а з о р у ж а я советский народ в его грандиозной восставительной и созидательной работе».

* Опять — точное указание на адрес: именно художественное творчество.

Распространение лексики гражданской войны на литературу стало привычным с начала 20-х. Маяковский: «...Поэт тот, кто в нашей обостренной классово-борьбе отдает свое перо в арсенал вооружения пролетариата», «советский писатель должен быть активным бойцом, активным работником на фронте нашего социалистического строительства». С особенной интенсивностью аналогичные метафоры насыщают выступления Н. Островского. «Я ведь боец того самого батальона «инженеров человеческих душ»... На линии огня взвод передовых мужественных бойцов... Их оружие не заржавело. На линию огня вывел красных партизан Александр Фадеев, собирает вокруг тихого Дона большевиков-казаков Шолохов и вывел в бой балтийских революционных матросов Всеволод Вишневский... Есть в этом взводе еще десяток хороших бойцов... А где же остальные? Ведь в батальоне около трех тысяч штыков». Горького Н. Островский по военной терминологии именуется «командиром», а советского литератора — «бойцом», призванным крепить в человеке «новые чувства» и «законы». Какие? Ненависть к врагам. «Любовь к родине, помноженная на ненависть к врагу, только такая любовь принесет нам победу. А для того, чтобы ненавидеть, надо знать подлость, коварство, жестокость кровавого врага, — и писатели должны об этом рассказать». Задачи литературы постоянно сужались. Н. Островский, характеризовавший себя «художником и коммунистом», недаром обращался к критикам (на обсуждении своего романа «Рожденные бурей» 15 ноября 1936 года): «Откройте артиллерийский огонь!» Фронтная лексика пропитала сознание, она была неотделима от пафоса переустройства общества и формирования «молодых товарищей, руководимых большевиками».

Боец идеологического фронта, литератор обязан был, конечно же, бороться с религиозным «дурманом». Серафимович в сборнике «О писательском труде» (1953 г.) делится воспоминаниями о своей работе: «Победила Октябрьская революция. Москва, уже своя, красная, родная... Я участвую по мере сил и разумения в этой невиданной в мире борьбе-строительстве... обличаю антисоветских попов, затаптываю поминутно вырывающийся из-под ног смрад удушливого «опиума» с ладаном». Отметим, что это «обличение» совпадает по времени с бессудными расстрелами тысяч священников по всей России. «Борьба с антисоветским попом», видимо, не дает писателю полного удовлетворения. Он задумывает большое эпическое полотно о том, как «крестьянство пошло в нашу... революцию»: «Крестьянин... являлся собственником: у него и коровка, и лошадка, и земляца, и изба. Крестьянин этот являлся хозяйчиком... и это коренным образом отличало его от рабочего». Своей целью Серафимович ставил разоблачение и преодоление «строя мысли... мелкого собственника», так же, как и Горький (в беседе с молодыми писателями, опубликованной в том же сборнике): «...Ведь мы еще недавно жили в стране тысяч церквей, монастырей, церковных школ... В наши дни

становится заметен рецидив религиозной эмоции. Его причина и пропагандист — кулак, оторванный от земли, лишенный власти над человеком... Мистическая догматика превращается в контрреволюционную политику, и это весьма интересный материал для писателя». Тем более важно показать, «как исчезает в нем (в крестьянине.— Н. И.) его стихийное, полумистическое отношение к земле теперь, когда десятки, сотни тысяч крестьян принимают физическое участие в обновлении земли, в процессе извлечения из недр ее различных сокровищ».

Год данного выступления Горького — 1934-й. К этому году от организованного голода и в ссылке погибли миллионы крестьян.

В «Железном потоке» Серафимович живописал «борьбу против контрреволюционного казачества» (Комментарий Л. А. Гладковской к шестому тому собр. соч. А. Серафимовича. М., 1959). Художественный способ работы автор определил как систему «перекрестных допросов», наверняка отдавая себе отчет в зловещем смысле этой терминологии.

3. Шпион Николай Ставрогин и наглость как творческий метод

А. Толстой, выступая тоже перед молодыми писателями, настойчиво нацеливал их, «осовременивая» образы Достоевского, приобщая их к самому злободневному сюжету (дата выступления — 30 декабря 1938 года). Николай Ставрогин, по его словам, — «тип, который через пятьдесят лет предстал перед Верховным судом СССР как предатель, вредитель и шпион». В качестве основы искусства А. Толстой утверждает «наглость художника» — думаю, что это определение следует рикошетом вернуть автору, столь бесцеремонно «осовременившему» классическое наследие.

Речь А. Толстого примечательна своей направленностью на «врагов». «Над нашим искусством «потрудились» вредители всяких «фронт»»; «тайной задачей «руководства» РАППа было опорочение советского искусства перед советским народом и перед всем миром. Вредительство мешало нашей литературе достичь тех мировых результатов, которые она должна была достичь и которых она несомненно достигнет»; «Удары сознательных вредителей и бессознательных головотяпов * всяких марок и стилей — подхалимов и прочее — наделали в искусстве серьезные опустошения»... Коммунистический граф не мог не знать последствий таких обвинений — отчеты о «судах» над всяческими «Ставрогинскими» постоянно печатались в центральных газетах; он произносил свои яростные инвективы в апогее уничтожения и самоуничтожения интеллигенции, в том числе и писательской. Его речь целиком можно отнести к жанру публичного доноса, жанру, распространенному в конце

* Заметим, что А. Толстой в полемическом использовании политической лексики выступает эпигоном Ленина и Сталина.

30-х годов, да и не только тогда. Выступление А. Толстого было, видимо, сочтено принципиально важным не только для молодых и было перепечатано в «Новом мире» (1939, № 2).

Какова же была позитивная программа литераторов, добровольно принявших на себя роль «винтиков» и «приводных ремней» партийного дела?

Свой долг они усматривали в создании произведения-идеологемы.

А. Фадеев в 1932 году в докладе на собрании литературных кружков Замоскворецкого района доверчиво делился с начинающими авторами своим литературным опытом: «Тогда (работая над первой повестью «Разлив». — Н. И.) еще я не понимал, что в основе произведения должна лежать продуманная идея. Я думал, что задача художника состоит в том, чтобы скомпоновать, сложить тот или иной материал действительности». Но от этих «иллюзий» он быстро избавился и уже учил создавать литературное произведение по новому методу: гражданской войны, в которой происходит... «отбор человеческого материала». В «переделке» же людей важнейшую, основополагающую роль играют, по Фадееву, «передовые представители рабочего класса — коммунисты, которые ясно видят цель движения и которые ведут за собой более отсталых и помогают им перевоспитываться». Разбирая одно свое произведение за другим, Фадеев в каждом отдельном случае четко определяет схему-идеологему, лежащую в основе каждого из них. Если мы вспомним слова Н. Островского о «новых чувствах» и «законах», обязательных для нового героя советской литературы, то увидим переключку с ним А. Фадеева, который утверждал пафос новой моральности, а точнее — аморальности передового героя-большевика: «Попутно мне хотелось развить в романе («Разгром». — Н. И.) мысль о том, что нет отвлеченной, «общечеловеческой» вечной морали. Ленин требовал от каждого сознательного рабочего, каждого коммуниста и комсомольца такого понимания морального, когда все поступки и действия направлены в интересах революции, исходят из интересов рабочего класса. Неморально все то, что нарушает интересы революции, интересы рабочего класса». В связи с сугубо прагматическим пониманием моральности объяснял Фадеев и собственно авторскую шкалу моральной ценности своих героев. Персонажи делятся на «годных» и «враждебных» или, во всяком случае, «негодных для революции».

В тридцатые годы советская литература (то есть литература, идеологически ангажированная именно советскостью) продолжила линию, откровенно сформулированную еще в 1923 году в дневнике Д. Фурмановым: «Писать надо то, что служит, непременно прямо или косвенно служит движению вперед». Наиболее четким воплощением идеологизированного сознания, «маяком» этой литературы на долгие годы стал Павел Корчагин, чей образ экстраполируется, например, Б. Полевым на ход мирового революционного движения («Он воевал в Корее, где один из самых отважных батальонов был назван солдатами его именем. Он

партизанил по вьетнамским джунглям. Он помогает вчерашним китайским кули, вдохновленным и организованным Коммунистической партией Китая...»).

С самого начала романа авторский взгляд разделяет действительность полярно на черное и белое; именно фронтовое, военное мышление является организующим весь материал. Оценки однозначны, интерпретации исключаются. Роман «Как закалялась сталь» можно рассматривать как своего рода знаковую систему. Появляющийся на первой же странице отец Василий («обрюзгший человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников», «Маленькие злые глазки точно прокалывали...»), конечно же, будет сопровождаться авторской неприязнью, если не сказать, ненавистью, а Павка, нагло обманувший его и нашкодивший, должен выглядеть истинным героем.

В точности следуя той же схеме, хозяин станционного буфета, «пожилой, бледный, с бесцветными, вылинявшими глазами», очевидно отворотителен, хотя ровным счетом еще не успел ничего плохого совершить. Так же и официанты — «сволочь проклятая», по мнению Павки. Оценки героя всегда и полностью совпадают с авторскими, вернее, герой служит рупором авторским идеям и оценкам. Павка не задумываясь обманет, украдет, и это, с точки зрения революционной этики, морально. Морально и убийство машинистами немецкого солдата («Ломом двинуть его разок — и кончено»). «Все происшедшее», то есть убийство, вызывает восхищение Жухрая. «...А те трое — молодцы, это пролетарии, — с восхищением думал матрос, шагая... к депо». Идеалом революционного самосознания является для автора Жухрай: «Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов — это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, неколебимая, борющаяся против всех богатых — это партия большевиков».

Между революционными пролетариями и враждебными им по классу всякими адвокатскими сыновьями и бывшими гимназистками Н. Островский помещает «обывателей». Обобщенный портрет измученных гражданской войной мирных жителей дается с нескрываемым презрением и отвращением («Совершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых постелей», «обыватель жался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям», «Обыватель знает: в такое время сиди дома и зря не жги свет... Лучше всего в темноте, спокойнее. Есть люди, которым всегда неспокойно. Пускай себе ходят, до них обывателю нет дела» и т. д.). К «обывателям», правда, относится подавляющее большинство населения России, это и был тот самый народ, за счастье которого вроде бы и шла борьба, но ни Жухраю, ни Павлу, ни самому автору это не приходило в голову. Рита Устинович (еще один рупор авторских идей) объясняет: «Наша задача... неустанно проталкивать в соз-

вание каждого наши идеи, наши лозунги». И вся короткая, в неистовом напряжении прошедшая жизнь Павла, его жертва в структуре романа-идеологемы освящает эти лозунги, подпитывает их живой кровью.

В «Железном потоке» А. Серафимовича, в главе XXIX, эпизодом проходит расстрел совсем юного офицера. «...Блеснули золотые погоны на плечах тоненько перехваченной черкески...» — этого достаточно для смертного приговора. «Он затравленно озирался огромными, прелестными, как у девушки, глазами, и на громадных ресницах, как красные слезы, дрожали капли крови». А. Серафимович — все-таки художник, и в описании грузина чувствуется двойственность авторского отношения, даже симпатия. Мальчик пытается объяснить: «Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали...у меня мать...» — но в ответ получает только лишь жестокое: «В расход!» Какова же реакция окружающих после выстрела, ознаменовавшего бессудный расстрел? «Точно желая стереть нестираемый отзыв его, все заговорили оживленно и громче обычного. Заиграла гармошка, затренькала балалайка». Смерть «белого» не является жертвой — в отличие от смерти «своих», «красных». Так же, как и смерть молодого казака, смерть священника. Информация о «вражеской» смерти окружена у Серафимовича насмешкой и весельем.

«— К нам в станицу як прийшли, зараз буржуазов всих (казак. — Н. И.) дочиста пид самый корень тай бедноти распределили, а буржуазов разогналы, ково пристрелилы, ково на дерево вездерулы.

— У нас поп,— торопливо, чтоб не перебили, отозвалс веселый голос,— тильки вин с паперти, а воны его трах! — и свалывс поп. Довго лижав коло церкви, аж смердить зачав,— ништо не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялс, точно и тут боялс, чтобы не перебили. И все засмеялс».

Воспитание в молодом советском читателе, на формирование внутреннего мира которого и была нацелена эта литература, ненависти к «врагам», привычки к виду чужой смерти, даже возбуждение в нем радости, веселья, положительных эмоций по случаю гибели «буржуаза», попа, казака или золотопогонного юноши, подкреплялось воспитанием жертвенности ради достижения светлого будущего, для которого следует, если необходимо, не задумываясь, отдать жизнь собственную.

Особенно впечатляющим было то обстоятельство, что жертва должна быть непременно молодой. Лучше даже совсем юной. В целях планомерного цементирования юной советской нации, в недрах которой должны были исчезнуть все традиционные национальные различия. Действие повести Аркадия Гайдара «Военная тайна» происходит в пионерлагере в Крыму, где выплавляется этот новый народ, новая нация — из детей башкир и русских, евреев и украинцев, поляков и татар, — в раствор обязательно подмешивалась ритуальная ангельская кровь — жертва, которой освящалось «правое дело». Таков Алька, ге-

рой-жертва в «Военной тайне», мальчик, которому отдано авторство идеологического «зерна» повести-сказки о Мальчише-Кибальчише и ужасном Буржуине. Алька, сын погибшей в застенках Румынии красавицы коммунистки Марицы Маргулис и инженера Сергея Ганина, младше всех остальных. Но он наделен автором необычайной классовой зоркостью и мудростью — раньше бы сказали «не от мира сего», — а также всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами. Смерть Алки от рук «вредителей», которые пытаются разрушить дело отца-инженера, — организующий, идейный центр повествования. Он должен погибнуть, чтобы «враги» были окончательно разоблачены. Чем большим обаянием окружен его образ, тем сильнее должно быть воздействие на юного читателя его смерти.

Отец Алки воевал в гражданскую, и его посещают довольно-таки красноречивые воспоминания.

«...Изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

...И тогда всем стало так радостно и смешно*, что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девчонок...» В этом сне-воспоминании вслед за расстрелом является Сергею и его будущая жена, мать Алки. Итак, рождению Алки предшествует «скорый расстрел», это тоже символично.

Атмосфера повести с самого начала, несмотря на веселый крымский пейзаж и щебетанье отдыхающих ребят, скрывает второй смысл. Читателю внушалось чувство бдительности, внушалось, что даже в такой радостной жизни где-то в тени обязательно прячутся вредители и шпионы, которые только и ждут, как всадить пулю в хорошего человека. Тревожный фон постоянно присутствует — во-первых, страна извне окружена врагами, в тюрьмах Польши, Австрии, Румынии сидят коммунисты; во-вторых, измена шевелится в прямом смысле слова под любым крымским кустом.

О чем думают, о чем мечтают, во что играют дети Гайдара в середине 30-х годов? Это тоже чрезвычайно показательно.

«Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя».

«Кругом измена! Все в плену... Держи знамя! Бросай бомбы!»

«— А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?»

— Нет, — ответил Владик. — Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездой и с маузером... Как Дзержинский... У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата».

* Та же модель психологического поведения, что и у героев Серафимовича.

«Собрали бы отряд и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы на белых и не изменили, не сдались бы никогда».

«...Грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. Смелее, товарищи! Пусть грохает». Прислушиваясь к песням и разговорам детей, пионерожатая Натка с удовлетворением отмечает: «А много нашего советского народу вырастает». И она была совершенно права.

4. «...Причастен к общегосударственной жизни»

Казалось бы, на большом историческом расстоянии от детей 30-х годов находится сегодня достойнейший писатель, фронтовик. Во время Великой Отечественной, в 1943 году, ему было девятнадцать — значит, он ровесник Альки. Серьезную драму переживает сегодня сознание человека поколения, ощущающего себя прежде всего советским. Честно воевавшего против фашизма, верившего в освободительную миссию Советской Армии, воспитанного на идеях интернационализма, преданности делу партии. «Те, кто рекомендовал меня в партию, — пишет он, — сложили свои головы как патриоты и как коммунисты. И если бы сейчас, в атмосфере многопартийности, которая у нас складывается, я взял бы на себя роль инициатора создания какой-то новой партии, то я бы ее назвал КВЛ — коммунисты военных лет».

Игры и мечты детей рождены прежде всего романтическим подражанием отцам, действовавшим в гражданскую. Отцы вступили в новый этап борьбы — с вредителями; гражданская война не кончается — ни в жизни отцов, ни в сознании детей. Новая, счастливая жизнь рождается только на полном разрушении традиционной культуры. То, чем начинается «Как закалялась сталь» — ненависть к «попам», завершает «Военную тайну»: «Тут Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидела покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.

Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец».

«Удивительно светлый дворец» — явный образ коммунистического будущего, ради которого именно в эти годы были уничтожены десятки древнейших церквей по всей Москве.

И после этой смерти часовенки, как после бессудных расстрелов (и у Гайдара, и у Серафимовича), следует реакция веселья и смеха: смеется «веселая девчонка», «тихонько улыбается» Натка да еще и мальчик, который «рассмеялся и убежал».

«Каждый порядочный художник, — утверждал Фурманов в дневнике, — непременно причастен к общегосударственной жизни». Это непременно «причастность» за 30—40-е годы в литературоведении и критике была стократ подчеркнута.

Но если в 20-е годы партийно-государственная ангажированность в ы б и р а л а с ь Д. Фурмановым или Н. Островским, то впоследствии она декларировалась как е д и н с т в е н н о возможная система взаимоотношений художника и власти. А произведения Д. Фурманова, Н. Островского, А. Серафимовича в учебных пособиях рассматривались как исключительно важные образцы подчиненности интересам партийного дела.

«После опубликования постановления ЦК партии,— пишут авторы «Семинария» по творчеству Д. Фурманова и А. Серафимовича, изданного Ленинградским университетом в 1957 году (отв. редактор доцент А. Г. Дементьев),— в критике заметно возрастает интерес к основным проблемам советской литературы, к творчеству крупнейших советских писателей».

Какие же темы для работы предлагает «Семинарий» студентам, например, по роману «Мятеж»?

«Об изображении руководящей роли партии большевиков в гражданской войне как об основной идее романа «Мятеж».

«Идея советской государственности в произведении».

«Торжество национальной политики Коммунистической партии — основная идея романа».

«Значение романа в разоблачении происков англо-американских империалистов на Востоке».

В конце 40—50-х годов трактовка романов еще более настойчиво идеологизируется. Дальнейшей идеологизации подвергается и русская классика. «...Надо, чтобы юмористические рассказы писали не такие пошляки, каким является Зоценко, — учил А. Еголин, — а чтобы они создавались высокоидейными писателями. Великие русские юмористы и сатирики, как Гоголь, Салтыков-Щедрин и Чехов, были высокоидейными людьми...» Чуть ли не большевиками, хочется добавить к умиляющему безбрежностью и безответственностью обобщений выводу. Но вернемся к творчеству классиков соцреализма. Их большевики-комиссары, говоря современным языком, были функционерами, это были чаще всего революционеры-профессионалы, прошедшие через гражданскую войну. Гайдар попытался в «Военной тайне» продолжить такой характер в условиях мирной жизни. Партийным функционером стал старый товарищ Сергея Ганина по фронту. Теперь этот товарищ отдыхает в привилегированном санатории, в замечательных условиях. При этом у автора и у героев не возникает и тени сомнения в заслуженности особых партийных привилегий. Система уже сформирована, и бывшие комиссары (еще перед 37-м годом) расположились в ней уверенно и спокойно.

Административно-командная система функционирует налаженно: чтобы получить необходимый ему для проведения работ динамит, инженер Ганин едет в санаторий к Гитаевичу и там по старому знакомству получает от него подпись на нужной бумаге...

Но даже в мирной жизни, повторяю, постоянно акцентируется мысль о готовящейся измене, и гибелью Альки она подтверждается. Значит, действительно надо быть особо бдительным, действительно кругом кишмя кишат изменники и шпионы. Повесть активно возбуждала священную ненависть (своего рода послереволюционный «джихад») по отношению к классовым «врагам», подпитывала и раздувала это чувство, не давая ему угаснуть в расслабляющей курортной обстановке.

Особым значением в такой прозе наделялся образ коммуниста-руководителя. Необязательно он стоял в центре повествования, но к нему устремлялись все идеологические нити в повествовании, видимые и невидимые. «Кожух и Левинсон, Чапаев и Клычков, Глеб Чумалов и Давыдов, Макаренко и ряд других ярких художественных образов, созданных в 20—30-е годы, воплотили в себе черты передового человека, вожак масс, активного борца за новую жизнь...» (Идеи и образы художественной литературы.— Ученые записки АОН при ЦК КПСС, М. 1958).

Герои четко делились на тех, кто представляет массу, которую надо вести, и вожakov, осуществляющих эту миссию. Вожаки, «переводные представители народа», заняты «воспитательной работой по приобщению народа к идеям социализма». Оставим в стороне безграмотность этого высказывания — увы, главная мысль писателей, авторская интерпретация роли «вожakov» переданы абсолютно точно. «Вожаки», по убеждению прозаиков, как бы вышли из народа, чтобы вести и учить его. Но если в период раннего, становящегося тоталитаризма у Фурманова, Серафимовича, Н. Островского связь с народом еще была окутана романтической дымкой общего похода, общих испытаний, жертв и побед, если иерархическая система (вождь и массы) как бы оправдывалась экстремальными условиями, то у их эпигонов, писавших в 40—50-е годы (период позднего сталинизма), эта связь, как и сами характеры «вожakov», вырождается.

Романтическая, бурная эстетика революционного порыва, преодоления, борьбы сменяется внешне тихой (удары — под поверхностью) эстетикой кабинетных битв.

Автор открыто любит деятельность и образом жизни вожака нового типа.

5. Гомо аппаратус

«Первый секретарь возвратился в свой обком два дня назад с нетерпеливым желанием работать, работать и работать». Какова же эта работа? «Заседание бюро обкома кончилось в половине шестого. Вопросов было много, потому что, пока Василий Антонович отдыхал в санатории под Москвой, некоторые из наиболее важных дел откладывались до его возвращения». С первых же страниц мы понимаем, что если раньше у вожakov в руках были идеологические нити, то у этого «вожака» в ру-

ках находятся все связи государственные. «Не скрывая удовольствия, пожал Василий Антонович большую, сильную руку председателя областного исполкома Сергеева... в шутку спросил командующего военным округом... генерал-полковника Лялюко, как у него дисциплина в войсках; секретарь обкома комсомола Сереже Петровичеву пообещал рассказать что-то очень интересное о комсомольцах». А вот на сцене появляется и прокурор. «Прокурор просил извинения, но дело у него к Василию Антоновичу такое, с каким ему бы не хотелось тянуть: не может ли Василий Антонович принять его еще сегодня?» Все нити и ниточки области, на которой уместится целое европейское государство, тянутся в кабинет с хорошо натертым паркетным полом, письменным столом, крытым зеленым сукном, а главное — с «белым аппаратом линии, которая могла немедленно связать Василия Антоновича с Москвой» (Вс. Кочетов. «Секретарь обкома»).

Василий Антонович Денисов — функционер новой формации, пришедший на смену «комиссарам в пыльных шлемах» и чужь морщащийся от их настоячивых напоминаний о собственных заслугах. «Это правда, что революцию он... не делал, что в годы ожесточенной борьбы против троцкистов, против уклонистов всех мастей отнюдь не был на передовых позициях: по молодости своей он и не очень-то знал тогда, где эти позиции». Василий Антонович — порождение аппаратной работы и относится к верхушке пирамиды, он аппаратчик, а быть, при этом еще и революционером совершенно необязательно, более того — нежелательно: «...Для историка существует только прошлое, «как было». А я практический работник, соня, мне важнее настоящее, понимаешь, настоящее...» Однако этот «практический работник» с белым аппаратом правительственной связи в восхищенном представлении собственной жены, а также автора вырастает в фигуру гигантских масштабов, этакое демиурга, без которого остановилась бы жизнь. Прошу прощения за обширную и кажущуюся ныне пародийной цитату, но кочетовский текст как нельзя лучше саморазоблачается цитированием. Итак, секретарь обкома заснул, но заснул не как обыватель, в домашней постели, а в кресле, где его не оставляют государственные заботы: «...И во сне его беспокоит все то же и то же, чем он занят днем. Он обходит заводы, он объезжает поля. На заводах не всегда ладно с выполнением плана, работам на полях мешают дожди. Где-то кто-то свернул с партийной дороги; где-то не хватает строительных материалов, вхолостую работает один научный институт, для второго неудачно подобран директор; в области с каждым годом все больше рождается ребят, а мест в яслях, в детских садах недостаточно; какие-то иностранные туристы задержаны на территории военного городка — что они там делали со своими неизменными фотоаппаратами?» Этой монументальной фигуре, эпически шагающей через поля, которым мешают дожди, через институты с неудачными директорами, уже не требуется соблюдение пропорций и точность в деталях — глядеть-то на нее положено снизу. Но неряшливость автора, шью-

щего одежду на своего одомашненного гиганта белыми нитками (это в литературе позднего сталинизма ритуально: любящая жена, дети, какая-то семейная драма, внук-сирота — искусственное прибавление теплоты домашнего очага к железобетонному, вернее, гипсовому персонажу) очевидна. С одной стороны, автор романа заявляет, что в конце 30-х годов (время «ожесточенной борьбы против троцкистов, против уклонистов всех мастей») его герой «не был на передовых позициях», а через несколько страниц — что еще «в с а м о м н а ч а л е т р и д ц а т ы х г о д о в» он был д е л е г а т о м от организации комсомола технологического института на городской комсомольской конференции, и первые его слова, сказанные будущей жене в фойе этой самой конференции, звучали так: «Социализм строим, девушка, все силы надо собрать в кулак и бить по наковальне сегодняшнего дня, а не размазываться, не расплываться по векам».

Как складывается, как формируется характер аппаратчика? Должны же в детстве, когда другие дети играют в прятки и салочки и мечтают стать врачами или инженерами, у будущего «делегата от организации» быть свои особые мечты?

Безусловно. Но реальность превзошла все мечты будущего первого секретаря обкома. И Вс. Кочетов успешно раскрывает душу героя перед читателем: «Мечты казались пылкими, несбыточными. Но думалось ли маленькому лобастому Ваське, который с п о ч т е н и е м и у д и в л е н и е м смотрел своими серыми сердитыми глазами на каждого приезжающего из города, на каждого «представителя», думалось ли ему в ту пору, что вот когда-то и он сам станет «представителем». И ведь стал! Жена восхищенно размышляет о нем: «Двадцать семь лет человек этот на ее глазах день за днем щедро, не скупясь, раздаст себя людям... И теперь вновь горячо и страстно строил социализм, нет, уже коммунизм».

Испытанием для него стал XX съезд. «Несколько недель они (с женой. — Н. И.) чувствовали себя физически больными, как будто от сердца каждого из них был отхвачен больной, очень важный, пульсирующий кровью ломоть» (?), но очень быстро этот совершенный в своем роде *hotto apparatus* нашел позицию, оправдывающую Сталина: «Нет, я его (характерно это «его»). Сталина по имени, как божество, не называют. — Н. И.) судить не могу... Отдельно взятый, я мал для этого», и далее развивает мысль, увы, до сих пор близкую сердцу не только не желающим «поступиться принципами», но и многим либеральным марксистам: «много лет, как настоящий солдат партии (опять фронтовая лексика. — Н. И.), беззаветно шел за Центральным Комитетом... несмотря ни на какие ошибки отдельных личностей, партия ни в малейшей доле не утратила и не может утратить своей революционной ленинской сущности». Сравню со словами фронтовика: «Мне было горько на митинге 15 июля, когда толпа скандировала «Долой КПСС!»... освистывать память фронтовых друзей позволять нельзя...»

Память о них нужна сегодня, потому что дело перестройки, разумного переустройства жизни требует к себе такого же беззаветного отношения». Как ни странно, как ни печально, как ни хотелось бы мне избежать этой параллели, но она не просто напрашивается, она, что гораздо хуже, реально существует. Идея беззаветного отношения и объединяет homo arragatus с простым солдатом партии, отдающим свое волеюмыслие на алтарь идеи («если ты в партии идеи, надо до конца делать дело, в которое ты веришь»). Не жизнь выше идей, но идея все-таки остается в сознании многих людей фронтового поколения выше жизни, даже — жизнью. И если партия, состоящая из людей, несколько, скажем так, загрязнилась, то не идея виновата, а опять-таки люди: «Все силы, которые у меня есть, я употреблю на то, чтобы партия, в рядах которой я состою, была бы достойна отданных за нее и идею жизнью».

Справедлив образ А. Ципко: «Наркотизация мышления приобрела глобальный характер» («Хороши ли наши принципы?» — «Новый мир», 1990, № 4). Ципко относит сказанное к эпохе военного коммунизма, ко времени Павки Корчагина, но это определение распространяемо на советского человека в принципе. «Мы связываем десталинизацию с возвращением к «первоистинам». Об этом пишут и говорят не только лидеры партии, но и люди «неангажированные», включая многих наших «свободных художников». Вот в чем закавыка... В марксизме, в его чистых глубоких принципах («идея!» — Н. И.) ищут панацею от нынешних бед предстатели довольно-таки различных политических направлений и убеждений. И сталинисты типа Нины Андреевой, и антисталинисты, как, скажем, О. Лацис, Г. Лисичкин, А. Бутенко. И демократы, считающие себя подлинными европейцами, интернационалистами, и государственники, называющие себя патриотами России... Люди борются, хватают друг друга за грудки. Но при этом все одновременно торопятся присягнуть на верность марксизму, а заодно и застолбить за собой право выступать в качестве его единственного верного толкователя». Романтическая вера в нового, советского человека до сих пор не позволяет увидеть «изначальную ложность самой идеи насильственной переделки человеческой природы». Ципко совершенно точно замечает, что в связи с наркотизацией мышления и патологизацией сознания, возвращенного на ложной догме, «студенты 30-х — 40-х годов были большими ортодоксами, нежели студенты 20-х». Именно из этих молодых «ортодоксов» 30-х — 40-х годов и ведут свое происхождение партфункционеры Кочетова.

Тип романтика 20-х вырождается — как в жизни, так и в литературе, которую можно обозначить, в отличие от прозы позднего сталинизма, как литературу загробного сталинизма своего кумира, которого «не мне судить». Литература загробного сталинизма тоже имеет свою систему героев, возвращенных на классовой борьбе и апологии классовой ненависти. И сколь бы мы ни объявляли ее мертвой, сколько поминок по

ней мы бы ни справляли*, она все-таки благодаря сложившейся инфраструктуре околотературных связей продолжает публиковаться и имеет свою достаточно широкую аудиторию. Недооценка этой ситуации чревата неточным, искаженным в удобную для нас сторону восприятием действительности.

Большинство демократов и либералов было буквально шокировано работой Российской партконференции, самовольно объявившей себя Учредительным съездом РКП и избравшей своим лидером Ивана Кузьмича Полозкова. Для аналитика общественных процессов в этом избрании, как и в самом ходе работы конференции, оттолкнувшей многих даже вполне правверных своей агрессивностью и непониманием положения в стране, стало очевидным нарастающее влияние «наркотического сознания», соединяющего теперь две линии: партийную «идейность» и национал-патриотизм. Общество, десятилетиями подвергавшееся идеологическому облучению, в том числе и той литературой, о которой говорили выше, не в состоянии перешагнуть сразу в новую ступень свободного от догм и стереотипов сознания, и избавляется от них долго и мучительно, при этом долго и мучительно болея совсем, казалось бы, неожиданными болезнями. Но это «поле сознания» продолжает «удабриваться» идеологическими нитратами и сегодня. Только в речах и выступлениях того же И. Полозкова эти нитраты присутствуют почти в очищенном виде, а в прозе, скажем, П. Проскурина, в которой можно обнаружить героев, родственных по своему сознанию вышеупомянутому товарищу, они предстают в смешанном виде — беллетризованными идеологемами.

6. «Безошибочным чутьем мудрого политика»

После объемистых книг «Судьба» и «Имя твое», появившихся в эпицентре застойных времен и обеспечивших их автору чуть ли не первое место в ежегодных планах изданий и переизданий, романов-эпопей, в которых живописались страсти роковые как в классовых схватках, так и в любовных столкновениях и союзах (свобода автора в этой сфере была почти головокругительной; я думаю, что его прозу смело можно квалифицировать как идеологизированную эротику времен застоя**

* В этом отношении характерно среди других появление статьи Вик. Ерофеева «Поминки по советской литературе», статьи острой и даже местами блестящей, но несправедливо смешавшей в одно вещи несомненные: и действительно мертвые, догматические явления и литературу «либеральную», разработавшую целую систему эзопова языка для разговора с читателем на запрещенные цензурой темы.

** ...В глазах стояла кругобедрая девка с высокой ждущей грудью, и как-то сразу отошли все дела и заботы, и был он насторожен и гибок, словно молодой зверь, учуяв где-то рядом дразнящий запах; «...Хороша поднялась девка у Поливанова, вся за последний год налилась, тронь, так и брызнет соком, и глаза бесстыжие ждут»; «...Стянул сапоги, жадно вдыхая в себя густой яблочный дух; ...сразу нашел ее и лег рядом на теплую перину, и едва успел дотронувшись до ее разгоревшей груди, как уже больше ничего не помнил...» Можно отметить у Проскурина и «нимфеточный» мотив, хотя и вызвал потом Набоков у Проскурина известный термин «некрофилия»: «— Я тебя еще парнем любила, — призналась Маня потом, оглаживая его несмелой рукой, словно узнавая его тело. — Чудеса ты рассказываешь, тебе тогда лет двенадцать всего и было, — отозвался Захар, прихватывая вспотевшей подмышкой ее прохладные пальцы. Чем не эротическая проза!

ибо здесь читатель, пробирающийся сквозь «части», «книги» и «тома», найдет все, вплоть до инцеста), П. Проскурин уже в новое время, как говорится, тряхнул старыми героями и продолжил свое бесконечное повествование новой книгой («Отречение». «Москва», №№ 9—10, 1987; №№ 7—9, 1990).

В предыдущих томах эпопеи, действие которой открывается о многом говорящей нашему сердцу датой — 1929 год, — Проскурин разрабатывал сюжет и систему образов по известной схеме: борьба классов на деревне (бедняков с кулаками, а также вредительство замаскировавшегося дворянина), партийная линия, которую надо исполнять и проводить в жизнь (то есть высылать «кулаков» и крепить колхоз, перегибы, мудрые указания товарища Сталина; энтузиазм председателя колхоза Захара Дерюгина, жестоко и несправедливо (из-за беззаконной его любви к красавице Мане) снятого со своего поста и через нестерпимые душевные муки расставшегося с партийным билетом.

«Когда-нибудь наше время будут рассматривать с изумлением! — говорит в середине 30-х с пафосом директор завода Чубарев, затем случайно арестованный и по ходатайству секретаря обкома Брюханова быстрейшим образом выпущенный на свободу. — Непостижимое время». Классовая борьба не только не затихает, но, по известной «концепции», все усиливается. Замаскировавшийся «белый», Родион Анисимов, в те же годы (!) заявляет: «Борьба есть борьба», а его жена читает ему нотации: «Они борются, а ты просто двуличный человек». Доносы сочиняют на порядочных людей либо такие, как Анисимов, либо распутные бабы, стремящиеся избавиться от собственных мужей (донос, таким образом, есть явление случайное). Классовая борьба в деревне особо обостряется в связи с успехами колхозного строительства, о которых поведано так: «За последнее время в колхоз пришли почти поголовно все; из трехсот хозяйств в единоличниках оставалось восемнадцать; да и то троих из них колхозники сами не принимали. Жизнь для Захара Дерюгина вошла в ровный, не дающий остановиться и обдуматься поток». Для того чтобы собрать крестьян в колхоз, годны, по мнению «положительного» проскуринского героя, любые средства: «Не пойдут добром, хитростью взять, сами потом спасибо скажут». Что же касается упорствующих, то тут ответ один: «А контру затаившуюся сыщем, я ее из-под земли достану; мы всяких видели — и крашенных и перекрашенных, а потом их в расход водили, за нами не заржавеет». Самым сильным ругательством из уст Захара Дерюгина звучит «паразит классовый». О последствиях организованного голода начала 30-х годов читаем: «Захар понимал, что положение с хлебом, с семенами в стране сложилось тяжелое, особо на юге, на Украине и на Волге, и что борьба за семена достигла болезненной остроты; повсюду кипели массовые чистки, и Захар почти физически ощущал вставшие стеной на стену противоборствующие силы». Апофеозом книги является съезд колхозников, на котором присутствует Сталин.

Сталин представлен в романе как фигура исключительно мудрая. Если ему, по мнению Проскурина, и присуща «резкость и беспощадность» — но «ума», а не сердца, ибо эта «беспощадность» помогает ему «саркастически обличать потуги пигмеев-политиканов проскочить за счет народа в вечность». Беспощадность продиктована прозорливостью: «С прозорливостью крупного политика он видел реальные причины и силы, заставляющие именно так, а не иначе поступать того или иного врага» (там же). Враги кишмя кишат вокруг, и потому Проскурин — повторю еще раз, в конце 60-х, во время ресталинизации страны, оправдывает даже сталинскую жестокость против народа, хотя, казалось бы, только и делает, что клянется народом, его интересами: «Где только мог, Сталин стремился подтолкнуть этот рост», да, «безжалостной рукой», но «отсекая лишние, по его мнению, ветви с невиданного еще в мире дерева, он хотел еще и сам увидеть цвет и плоды его и в то же время — безошибочным чутьем все того же опытного и умного политика понимал, что любой неверный шаг в сторону от Ленина может оказаться роковым».

Сталин обрисован в «Судьбе» особо любовно; Проскурин не скупится на утепляющие и оживляющие детали: «уверенная фигура Сталина, размеренно и четко движущаяся по небольшой комнате с простой, удобной обстановкой», «добрый прищур внезапно потеплевших глаз», и даже «толстые его усы приняли какой-то домашний, добрый вид». Диктатор и кровавый тиран поднимается на невиданную душевную и духовную высоту, мазки его внутреннего мира набрасываются широко, крупно и с нескрываемой любовью: «укоризненно-понимающий взгляд Сталина», «испытующий взгляд Сталина», «Размеренный... глуховатый голос снова захватил Петрова силой убеждения и редкой искренностью».

Как же смог автор, по его собственным словам, всегда стоящий на народных позициях, с таким преклонением, если не сказать сильнее, живописать недочеловека, уничтожившего десятки миллионов, открывшего геноцид против этого народа? Над парадоксом пока лишь задумаемся, чуть отложив ответ. А пока скажу лишь, что и «жестокость» Сталина Проскурин оправдывает:

«— И, пересаживая что-нибудь, необходимо точнее придерживаться социальных швов, хотя травмы, кровоизлияния в соседствующие ткани неизбежны...

— Разумеется, все это необходимо, Иосиф Виссарионович. Поймут ли нас? Такая трудная логика!.. Да, повороты истории иногда жестоки,— сказал Петров негромко, словно рассуждая сам с собою.

— Это жестокость революции, она необходима, чтобы выжить,— нахмурился Сталин».

«Не нравится» и автору, и собеседнику в Сталине лишь одно: почему «он не хочет пресечь это безудержное славословие в отношении себя...». То есть не Сталин виноват и не режим, упроченный им; не было

у него преступлений — виновато лизоблюдское, подхалимское окружение, да и то — в «славословии», то есть в пресловутом «культе».

Решения XX съезда не были отменены, но уже в послехрущевское, в брежневское время, когда Проскурин писал свой роман, из них был выхолощен подтекст, остался только прямолинейно-поверхностный текст, который и был истолкован Проскуриным буквально — именно как осуждение «культа», а не самого сталинизма, а еще пуще того — системы. Нет, и система, и сам Сталин, и Ленин, «образ живого лица» которого просветляется в душе Захара в мертвецкой мавзолея, составляют для Захара (и для автора) полное и гармоническое единство на роде и идеологии, выраженное через витиевато украшенное нагроможденными эпитетами, спотыкающимся, ковыляющим синтаксисом. Видимо, так представляет себе автор самосознание русского крестьянина, подходящего более на сознание чувствительной барышни — слово-эмоцию: «Лицо Ленина, которое он увидел из-за плеча остановившегося Савельева, поразило, почти испугало его, неожиданная боль в горле перехватила дыхание; он будто понял, проник к самым истокам самого себя и внезапно обнажившимся и беспомощным откровением сердца* прикоснулся к самому важному в себе, и это важное было то, что он жив и должен жить и идти дальше. Он осторожно перевел дыхание; лицо Ленина в его вечной успокоенности словно дрогнуло и приблизилось к нему, и теперь Захар мучительно видел в нем самые малейшие черточки, и в то же время другим, внутренним зрением, через удивительную глубину этого образа живого лица** Ленина, покоившегося в непреодолимом удалении от его (чьей? вопрос остается без ответа. — Н. И.), увидел свою жизнь, от первого ощущения сильных и теплых материнских рук до холодка конных атак и горьковатого, пахнущего кровью и смертью ковыля степей Приазовья...».

Итак, автор вернул нас в ностальгическое время гражданской войны, любезное герою своей классовой определенностью. Но надо сказать, что жестокость гражданской войны и классовых схваток в деревне отчетливо связывается Проскуриным с национальным характером — по крайней мере его герои в своих «схватках» и «боях» вполне естественны; и голову Захару могут равно проломить, что из-за красивой девки, что из-за насильственного переселения крестьян из хуторов.

Свой роман-эпопею Проскурин писал долго, очень долго; времена менялись, и партийно-классовая сущность идеологии загробного сталинизма (в отличие от стилистики, остающейся неизменной со своим пристрастием к невероятному многословию и гипермонументализму) пре-

* Вчитываясь в эти строки, я увидела несомненный генезис прозы позднего Ю. Бондарева. Нет, не от Л. Толстого ведет происхождение его стилистика, а от прозы загробного сталинизма.

** Разрядка П. Проскурина. Намеренная многозначительность избыточного словесного ряда умножается еще и за счет графических украшений.

терпела определенные изменения. Идеология партийности постепенно, но верно вступала в симбиоз с идеологией националистической, с идеологией происхождения «по крови». Правда, еще в первой части своей многотомной эпопеи Проскурин уже осторожно закладывает в будущую идеологическую постройку краеугольные камни возрождения идеи великорусского мессианства — еще в середине 30-х годов один из персонажей говорит Сталину: «И кроме того, мы принадлежим к народу с великой духовной культурой, и здесь в конце концов проявится смысл и цель революции». И еще: жена бывшего белого офицера, патриотка, благожелательно относящаяся к Захару, пытается излечить мужа от классовой неприязни при помощи аргумента, получившего широкое распространение ко времени конференции Российской компартии: «Одна партия, одна власть, один народ». Примечательно, что эта формула дворянки-патриотки, стоящей в шкале авторских пристрастий гораздо ближе к истине, чем к собственному мужу, в той же середине 30-х настойчиво зазвучала на немецком языке...

Легко ли было автору в конце 80-х связать воедино то го Сталина, тот апофеоз колхозной жизни и классовой борьбы — с н о в о й концепцией, разделяемой ныне Проскуриным, — с идеологией национал-патриотизма?

По всей видимости, должно было последовать глубокое и серьезное переосмысление всего прежде написанного. Покаяние (хоть и не принимает Проскурин со товарищи-заединчики этого слова). Очищение — простите, мол, читатели дорогие, не ведал, что писал, не знал, что воспевал.

7. Заединство или плагиат?

Но Проскурин легко обошелся без нравственной переделки, нравственного, нового рождения.

Как бы и ничего не случилось. Он п р о д л ж а е т свою бесконечную цепь эпопеи романом «Отречение», но находит чрезвычайно удобный, как ему, видимо, представляется, ход: многомудрого Сталина делает управляемым, и г р у ш к о й в руках сатанинских сил в лице Кагановича и иже с ним. В образе классового врага меняется только знак: теперь это тоже враг, но только не враг народа, а враг русской нации. А атмосфера н е н а в и с т и, нагнетание ненависти остаются прежними.

Что же народ? Что же Захар, осуществлявший раскулачивание? Еще в первой книге ему бросает обвинение пойманный с поличным кулак Федька Макашин («Убить меня хотел, Федька? На гулянки вместе ходили... Сволочь ты»): «А ты, когда на Соловки людей с малыми детьми отгружал в скотские вагоны, про гулянки поминал?» Захар отвечает ему в «непримиримости»: «Зря злобствуешь, Макашин. Твоя песня кончена». Что же теперь, когда Захар на старости лет, уже прадедом, вспоминает свои «деяния», просит ли он у таких, как Макашин, у сосланных

им на верную гибель баб с детишками прощения, кается ли перед Богом, которого теперь герои Проскурина то и дело поминают с большой буквы? Нет, ответ (даже не ответ, а о п р а в д а н и е) опять на удивление прост: «Жизнь была такая, его убивали, и он убивал, и в гражданскую... Много ли понимал он в начале тридцатых? Дурная кровь играла, силы много, ума не надо». Значит ли это, что «дурная кровь» играла в 70-е и у аура?

Сталин остается с особым сочувствием выписанной трагически одинокой фигурой, желающей добра. «Оглушенный опрокинувшимся на него беспредельным одиночеством после смерти любимой жены» — душераздирающая картина. А вредили и народу, и самому Сталину некие «они», «нукеры», то есть Бухарин и остальная «свора»: «Они всегда боялись его, льстили ему и потому все глубже и осознаннее ненавидели... Жадная, ненасытная свора, каждый с комплексом (неужто проскуринский Сталин, которому принадлежит этот внутренний монолог, Фрейда читал?! — Н. И.), недополучил, недобрал, отодвинул... Зачем такие остаются?» Действительно, зачем? Лучше сделать так, чтобы и духу их на земле не было... Но сделать это бедному, управляемому Сосо чрезвычайно трудно: «...Он тут же стал думать о скрытых мировых силах, пытающихся удерживать под своим неустанным контролем его самого и направлять его планы и действия в нужную только для них сторону», думать «о степени своей зависимости от тех же могущественных международных центров; ими для России давно уготована участь колонии, неважно, каким путем это будет достигнуто, через изурительные войны с соседями или через внутреннюю, еще более опустошительную, обесиливающую революцию...» В концепции этой нет ровным счетом ничего нового по сравнению со схемой В. Белова. В романе «Год великого перелома» Сталин и психологически, и физически, и по своим «внутренним монологам» на удивление идентичен проскуринскому. Впрочем, время удивления уже миновало. Когда-то прекрасный прозаик В. Белов парил на недоступной П. Проскурину высоте «Привычного дела» и «Вологодских бухтин», отличаясь от нынешнего своего заединщика прежде всего подлинным, богатейшим русским языком; теперь же, после того как и письма в инстанции подписывали вместе, и «врага» общего обрели, и на романы-идеологемы Белов перешел, язык и стиль почти сравнялись — но, увы, не в сторону горячо мною любимого раннего Белова.

Это отнюдь не единственный случай поразительных совпадений. Если бы не трогательное идеологическое заединство, я бы даже осмелилась предположить плагиат. Впрочем, судите сами: приведу два отрывка из внутреннего монолога одного на двоих героя.

«Сталин день и ночь держал в уме всех членов Политбюро, Оргбюро, Секретариата и Контрольной комиссии; он тасовал их, словно колоду карт, раскладывал, как пасьянс, сопоставлял, приравнивал друг к другу и противопоставлял, комбинировал всевозможные группировки» (В. Белов — «Новый мир», 1989, № 3, с. 9).

«...Целиком захваченный сейчас очередной перетасовкой руководящего аппарата, в сотый, тысячный раз сортировал в голове нескончаемую колоду карт, обозначавших конкретные, определенные лица; карты располагались несколькими витками вокруг него, и каждая имела свое место, была помечена тайным, известным только ему знаком. Он по многу раз передвигал эти карты из внешнего круга во внутренний и наоборот, некоторые он изучал особенно тщательно, откладывал их в сторону, вновь и вновь возвращался к ним, по-разному группируя отдельно и вместе, вновь смешивал и рассыпал, нейтрализуя одну другой самыми парадоксальными соотношениями в зависимости от значения каждой карты; его мозг, настроенный на одну волну, без усталости просчитывал сотни вариантов» (П. Проскурин. — «Москва», 1990. № 7, с. 80).

Нет, все-таки Сталин у Проскурина «погениальнее» беловского — старая любовь не ржавеет.

И еще: талант, даже бывший, все-таки ощутим: для того, что породило многоречивый поток во втором случае, В. Белову хватило гораздо меньше слов. И уж никогда бы его перо не вывело «соотношений в зависимости от значения». Впрочем, время покажет, как далеко зайдет наметившаяся образная и устоявшаяся идейная близость этих авторов*.

Мы прочтем у В. Белова и о «силах зла» (у Проскурина — «сатанинские»), и про некие «они», у которых Сталин оказался в униженной зависимости: «Казалось, все силы зла ополчились на эту землю. Вступая на пустующий императорский трон, знал ли угрюмый Генсек, что через несколько лет, в день своего пятидесятилетнего юбилея, он швырнет им под ноги сто миллионов крестьянских судеб? За все надо было платить, даже за наркомовскую фуражку, а тут неожиданно подвернулась аж Мономахова шапка» («Новый мир», 1989, № 3). Но если В. Белов прочно стоит на избранной им позиции по отношению к «классовой борьбе» и здесь, и в «Канунах», начало и продолжение которых давно опубликованы, то у Проскурина «концы» с «концами» не вяжутся; он выбирает самое простое — если не сказать примитивное — решение: поменять (пока в подтексте) эпитет к войне «гражданская» — на «национальная». Поэтому и взрыв Храма Христа Спасителя описан как злонамеренно националистическая акция, организатор которой — еврей Каганович — намеренно расставляет для осуществления своего замысла русские фигуры. А само разрушение этого храма рассматривается как нарочитое «подавление» национального духа...

В первых книгах эпопеи революция, Ленин; коллективизация, индустриализация — все эти понятия были овеяны даже романтическим

* Еще раньше о том же высказался В. Распутин: «Серьезный отзыв вызвали страницы о Сталине, о технологии и психологии власти. Однако, читая, я ловил себя на мысли, что не менее, а быть может, более интересно бы для литературы было исследование психологии власти таких могущественных при Сталине, но теньных фигур, как Каганович» («КО», 1988, № 14).

духом; а враги-ненавистники всему этому вредили. Теперь знак меняется на полностью противоположный. Все опять-таки очень просто: плюсы на минусы.

«Шайка, самая настоящая шайка международных авантюристов-демагогов... Обманом захватили власть в огромной стране, ненавидят и презирают все русское... Они воплощают чужеродные теории на русской почве» — этот проскуринский единомышленник И. Шафаревича является отцом (и вдохновителем) героя-идеолога, академика Обухова («это был редкий случай, когда сын с отцом представляли нечто единое в духовном плане»). «Революции? Лучше скажи вражеской оккупации, тотального разрушения культуры, истории порабощенного народа!» Ни отцу, ни сыну, ни самому автору, передающему все эти филиппики с несомненным сочувствием, увы, не дано столкнуть эту «идею» с Захаром Дерюгиным из первых книг эпопеи, — что же касается читателя, то если что и помнит начало, от которого отделяют многие тысячи велеречивых страниц, то смутно; критика же, взявшего на себя труд осилить ныне все части этой эпопеи подряд, от первой страницы до последней, ждет глубокое изумление крайней непоследовательностью автора.

Впрочем, в одном он остается последовательным: в настойчивом повторении уроков ненависти.

Их было чрезвычайно много в первых книгах.

Ненависть к «кулаку» и ненависть «кулака».

Ненависть «белого» и ненависть к «белому».

Ненависть к «вредителям».

Ненависть жены к мужу.

Ненависть братьев к сестре.

Примеры можно множить и множить.

Как правило, эта ненависть, даже идеологическая, выходит на проскуринские страницы в физиологическом облике. У бывшего белого офицера была неприятная манера складывать руки, да и сами руки были какие-то не такие. Не вызывающие доверия. «...Она видела его неспокойные, точно ищущие что-то, узкие, сильные кисти рук, которые он по старой привычке заложил назад, за спину». Ясно, что у человека с правильным происхождением таких рук быть не может.

«Кулаки» вообще глядят зверовато. «Горящие из-под спутанных косм глаза» «кулака» Федьки Макашина тоже горят-то ведь не чем иным, как классовой враждой. У него же Дерюгин отмечает «застывшее в кривой усмешке лицо с темными проваливающимися глазами», — понятно, что его ведет «слепая нерассуждающая ненависть».

В «Отречении» примеров физиологического возбуждения неприязни (а также ненависти) тоже хватает.

Только теперь опять-таки меняется знак. Все наоборот.

Теперь «раскулаченные» физически хороши и привлекательны, а «комиссары» и «начальники» — отвратительны.

Ненависть как постоянный эмоциональный фон повествования остается, она просто меняет свои адреса.

Из сферы социальной она перемещается, повторяю, в национальную.

Трагические перипетии в жизни народа объясняются опять-таки происхождением персонажей. Только уже не классовым. К чему изучать историю, выискивать по крупицам документы, собирать конкретные данные, когда все так просто? Сталин управляется Кагановичем, «вышедшим из бедной еврейской семьи... и теперь вершившим делами огромной страны, всегда им ненавидимой и ненавидимой с каждым годом все больше». Почему ненавидимой? Других причин, кроме происхождения из «сатанинских сил», автор, естественно, не указывает, — еврейства Кагановича, «умело и ловко направляющего действия и самого Сталина», для него достаточно. Первым эту идею выдвинул В. Распутин. Так что и здесь у П. Проскурина, можно сказать, идейный плагиат.

Но что же представляет тогда собою этот «самый Сталин», если он столь безвольно отдается воле всяких кагановичей (по В. Распутину и П. Проскурину) и яковлевых-эпштейнов (по В. Белову)? Что если не слепую, ничтожную во всех отношениях личность, которой напыщенные сцены в обреченном Храме Христа Спасителя могут придать лишь помпезное псевдовеличие? На кого они, эти напыщенные дурновкусные сцены, рассчитаны, если читатель уже запомнил (многажды Проскуриным повторено), что Сталин «избран тайными мировыми силами для окончательного разрушения России и расчистки места под иное, всемирное и вечное строительство», что это, как не еще один плагиат (теперь уже с фальшивки «Протоколов сионских мудрецов»), калька с фашистской идеи «всемирного иудомасонского заговора»?

8. От Петра Лукича до Ивана Кузьмича

«За такие колоссальные фигуры, как Сталин, должны браться люди и огромного художественного дарования типа Шекспира или Достоевского», — постановил Проскурин в одном из своих интервью 1988 года.

Но я обнаружила другой источник проскуринского вдохновения. Не Шекспира. И не Достоевского. Однако — не менее любопытный.

Проскуринского Сталина в мгновения физического нездоровья и мучительной боли в руке («придерживая больную, нывшую к непогоде руку у самого локтя» — помните «ужасную болезнь гемикранию, при которой болит полголовы», у булгаковского Пилата?) навещает некий странный посетитель, умеющий проходить сквозь стены. «Медленно повернув голову, он увидел у дальнего окна смутную фигуру в темном одеянии, ниспадающем длинными складками с плеч, высокий чистый лоб, внимательные и грустные глаза». Больной руки Проскурину показалось недостаточно — он еще более смело вступает на булгаковскую тропу,

правда, со своей, проскуринской лексикой: «У меня и без тебя голова трещит», — сказал Сталин.

Пилат был излечен от головной боли бродячим философом Иешуа — «...Мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет... Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный...» М. Булгаков).

Сталин после жалобы на боль наведомому посетителю, которого он называет то «пророком», то «учителем», почувствовал вдруг «непривычную странную бодрость, даже юношескую свежесть — его тело окрепло, голова прояснилась и боль из руки ушла». П. Проскурин).

Иешуа с Пилатом и посетитель со Сталиным говорят одинаково непринужденно — на «ты»: «Благожелательно поглядывая на Пилата», — это Иешуа; «Дружески сказал гость», «с приятной улыбкой» ответил гость, от которого исходило тихое успокоение, — это у Проскурина; здесь гость просто даже шпарит по Евангелию — мол, «каждому воздается по делам его» — куда уж прозрачнее теперь имя пришедшего!

Иешуа говорит о Марке Крысобое — «добрый человек»; гость Сталину о Кагановиче — «прими его, он принес радостные вести».

Сталин впивается «в лицо ночного гостя вспыхнувшими рыжеватыми, словно у рыси, глазами», — Пилат «круто, исподлобья... буравил глазами арестанта». В облике Сталина подчеркивается угрюмство и одиночество, а жестокость его фраз сдобривается «долей надежды и ожидания», — Проскурин почти буквально, эпигонски-карикатурно повторяет рисунок булгаковского характера: «Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнул и окончательно потерял веру в людей». Сталин у Проскурина мечтает о «собеседнике», с которым можно было бы о многом поговорить, — у Булгакова Пилат и Иешуа в финале «о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотя о чем-то договориться». Улыбаются глаза у Иешуа, — улыбаются они и у сталинского посетителя.

Более того: «Ненавижу этот народ!» — вырвалось у проскуринского Сталина, — «помимо воли, он должен был сейчас кому-то пожаловаться», а вот и булгаковский Пилат: «Ненавистный город», — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб».

Проскурин не только почти след в след копирует великую булгаковскую сцену, уподобляя Сталина Пилату, с которого, по его мысли, тоже проторенной (такова уж творческая манера Проскурина) П. Палиевским. Вина снята, ведь виноват-то во всем первосвященник Каифа, а Пилат — что Пилат? Он лишь умыл руки и подчинился решению синедриона. Проскурин идет дальше: Сталин у него уподобляется одновременно и Пилату, и ... чуть ли не самому Иешуа. «Ты хочешь угадать, — продолжает незнакомец... — кто из них первый одарит тебя иудиным лобзанием?»; и оправдывает его действия: «Ты взвалил на себя непосильное человеку», «Сам того не сознавая, ты уже принесешь благодеяние человеческому роду»... Сталин у Проскурина предстает жертвой всемирного масштаба, измученным своей великой ролью человеком, страдаль-

цем, которого остается ... только лишь пожалеть всем сердцем. Ведь это его вся окружающая «свора» желает подчинить и использовать. И автор оправдывает и жестокость, и ненависть Сталина, отделяя судьбу страдающего народа от его, Сталина, воли. Поэтому в сюжетной схеме романа мучения высланных в тайгу крестьян и «мучения» Сталина имеют один источник в тех самых «мировых силах зла», «сатанинских силах», которые управляют и народом, и беспомощным Сталиным.

Таков идеологический незатейливый узор, упорно вышиваемый Проскуриным для того, чтобы увести Сталина от исторической вины за все чудовищные злодеяния. В этот центон сгодилось все: и Булгаков, и Белов, и В. Распутин, и Палиевский, и Хрущев, и миф о «всемирном заговоре».

Помните, А. Толстой учил молодых «наглости»? Уроки те были хорошо усвоены — и не одним поколением советских «инженеров человеческих душ».

Если Сталин и его таинственный посетитель есть не что иное, как пародия на Булгакова, то еще более «наглым» (повторяю термин А. Толстого) является использование в тенденциозно искаженном виде самой реальной действительности.

Останавливаться подробно я на этом «сюжете» не буду; скажу лишь, что в «Отречении» изображена история некоего «инакомыслящего» академика и его жены, восставшего против власть имущих своими идеями. Академика и его жену «преследуют»: совершают в их квартире обыск; забирают бумаги и статьи; отключают телефон... «Так! — сказал он с некоторой сумасшедшинкой, и в его взгляде промелькнуло нечто от молодости... помедлив, он резво устремился к телефону.

— Иван! — предостерегающе воскликнула Ирина Аркадьевна...

— ...По-прежнему отключен... Нечем дышать. Они совершенно прекратили доступ кислорода».

Если вы полагаете, читатель, что сцены с резвым академиком, пытающимся «добиться приема у Суслова, затем у Андропова», который «звонил и в приемную самого Леонида Ильича», а затем распивал чай в споре с неким начальником, отличающимся чрезмерной бровастостью, имеют отношение к А. Д. Сахарову — единственному члену академии, тогда действительно противостоявшему всей системе и действительно репрессированному этой системой, — то вы глубоко ошибаетесь. Академик, изображенный с поистине проскуринской силой проникновения в сложнейший интеллектуальный мир — а перу нашего автора равно доступны что крестьянин, что академик, что Сталин, что «учитель» («о чем-то неотступно размышляя»; впрочем, можно и уточнить, о чем: «И кому нужно будет братство, равенство и прочий бред, если земля совершенно облысеет?»), — озабочен только экологией. Ни права человека, ни лагеря и тюрьмы, ни преследования людей по политическим мотивам, ни психушки его не волнуют — так отчего же он назван «инакомыслящим»? А автор все нагнетает страсти: «последний мирный ужин» в ака-

демическом доме, «попавший в опалу биолог с мировым именем», «сумасшедший в академическом сане»... И что в конце концов у него ищут и какие бумаги арестовывают? Что за детектив с «пакетом», который он слезно просит сохранить, — как перед казнью? Что за комедия, что за маскарад?

Фарс и пародия, а точнее будет слово спекуляция, — неприличны прежде всего потому, что за этим «детективным» сюжетом стоит драматическая жизнь и судьба реальных Андрея Дмитриевича Сахарова и Елены Георгиевны Боннэр. Никакие другие «академики» и их жены в брежневское время не преследовались. К тому же проскуринский «академик» вырастил достойного себя ученика, который рьяно убеждает его объединять усилия с отжимом-функционером по... национальному признаку: «К тому же он русский человек, пора нам наконец объединяться!» Итак, идеология объединения наконец найдена. Что ж, можно ли сказать, что Проскурин и его герои-единомышленники благополучно похоронили классовые ценности и перешли к национальным? Нет, такой вывод был бы неточным: перед нами скорее стремление объединить и те, и другие.

И тут от прозы, извините за выражение, художественной, но насквозь идеологизированной, мне придется перейти к прозе идеологической, но с уклоном в художественную образность.

Я имею в виду интервью, данное в августе 1991 года газете «Правда» первым секретарем Российской компартии И. К. Полозковым, твердо стоящим на позициях «классовых». «Партия... в трудный час всенародных испытаний сумеет надежно защитить классовые интересы людей труда», — утверждает Иван Кузьмич. Окидывая взглядом поистине фантастические результаты семидесяти с лишним лет господства этой партии, я еще раз подивилась отчаянной твердости функционера, упорно не желающего «поступиться принципами». Как же он собирается защищать эти интересы? Да известно как — «гарантиями снабжения», то есть, переводя на наш обычный язык, распределением, как оно и было все эти десятилетия. Но не затем, чтобы вступить в бесплодный (уже ничего не объяснишь радетелям народным) спор с первым секретарем, процитировала я его выступление в газете «Правда». Ассоциация с прозой Петра Лукича Проскурина возникла вот по какому поводу: Иван Кузьмич Полозков (уж не вслед ли за прозаиком?) в течение интервью от «классовых» терминов с грациозностью партфункционера перескочил к... новозаветным образам. И здесь — о чудо! — опять появился тот, чье имя не стоит называть всуе даже в партийной газете... Хотя это и придает всему интервью особую пикантность, как выразился бы Петр Лукич, «живинку». «А интересы фарисеев, менял и торговцев, изгнанных Иисусом из храма, но реабилитированных впоследствии папой римским, — звенит на партийном амбоне начальственный голос, — пусть защищает другая партия».

Не знаю, как вам, читатель, а мне больше всего в этом удивительно плюралистичном по словарному составу тексте больше всего понравил-

ся политический эпитет в религиозном окружении — «реабилитированные». К тому же и произнесенный с явным негодованием.

Уж он-то, И. К. Полозков, в отличие от римского папы, разных там торговцев, менял и прочих кооперативщиков не «реабилитирует» никогда, будьте уверены.

Хотя папа римский в защите от Ивана Кузьмича действительно не нуждается, ради справедливости приведем письмо читателя, откомментировавшего интервью: «...Никаких менял и торговцев, изгнанных Иисусом, он не реабилитировал. Для каждого, знакомого с деятельностью Ватикана, ясно, что речь идет совсем о другом: были сняты обвинения с евреев (как народа) в распятии Христа. Из контекста высказываний И. Полозкова получается, что им-то, «реабилитированным», и отказывает он в праве состоять в одной с ним Российской коммунистической партии» («Огонек», 1990, № 35). Вкупе с любимым полозковским выражением — «краснодарская сотня», гнев Ивана Кузьмича против либерального папы свидетельствует о четкой направленности убеждений, которые тот же огоньковский читатель квалифицирует так: «Судя по интервью, ему весьма импонирует слово «лидер». Но после прочтения едва завуалированных погромных сентенций на ум приходит нечто иное...»

Уроки агрессивности, ненависти, глубоко заложенные в почву сознания не только нашей советской историей, но и литературой социализма, в том числе и ее классикой; семена, заботливо взращенные эпигонами, продолжают давать свои всходы — и в текущей журнальной прозе, и в действительности. Поэтому меня отнюдь не удивил ни ход работы самозванного «съезда» Российской компартии, ни результаты выборов, ни содержание нового романа Проскурина. Это все звенья одного процесса. Он, процесс этот, исторически завершается, на глазах меняется политическая карта мира, каждый час звонит колокол о конце эпохи, унесшей десятки миллионов жизней, о том, что так дальше жить нельзя. Но забывать о том, что всякое движение вперед сопровождается реакция отдачи, тоже опасно. И об этой реакции — как художественной, так и идеологической — напоминает роман Проскурина, еще раз попытавшегося «оживить» и «утеплить» легенду об одиноком, непонятом, величественном диктаторе, а на деле нарисовавшего не легенду, а карикатуру на булгаковского Пилата.

Появление этого романа сегодня, как и выборы Полозкова, и его, Полозкова, речи и выступления — показатель еще одной старой связи. Связи «партии» (то есть правящей олигархии) и заботливо выращенной ею советской литературы (именно советской, а не русской литературы советского периода).

Ю. Буртин в своих заметках «Мертвое и живое» («ЛГ», 1990, № 34) точно определил природу этой связи: «Обеспечить себе сколько-нибудь длительное существование такой строй способен был, лишь окружив себя, помимо колючей проволоки, идеологическим туманом, лишь систематически и целенаправленно мистифицируя общество, лишь подменяя

в сознании масс то реальное представление о действительности, какое давал повседневный опыт... «легендой» о ней. Над созданием, поддержанием, а когда нужно, и частичной модификацией этой легенды, над ее эффективным втеснением в умы десятки лет не покладая рук трудился огромный пропагандистский аппарат... Весьма заметная роль отводилась художественной литературе, и потому уже издавна, по крайней мере с середины 20-х годов, она стала предметом «постоянной заботы партии и правительства».

Уточнение мое сводится только к дате начала этой «заботы» — как я пыталась доказать, «забота» эта началась еще со знаменитой ленинской статьи.

«Легенда», о которой сказал Ю. Бургин, сегодня действительно модифицируется ревностными апологетами уходящей в прошлое «заботы».

В свете всех обнаруженных документов и материалов, воспоминаний и свидетельств продолжать настаивать на легенде об «изумительном» и «непостижимом» времени 30-х годов, о засиявшем колхознику и рабочему изобилии, о построении «социализма», а то и «коммунизма» уж никак невозможно. И в исторический момент крушения всей этой литературной и не очень литературной мифологии, целенаправленно манипулировавшей сознанием не одного поколения советских людей, наркотизировавшей массового (такова была неременная установка) читателя, ему подается легенда новая, но не менее мистифицированная: о «всемирных злодейских силах», «сатанинском заговоре», о «фарисеях и менялах», на которых надо быстро направить массовое недовольство, — в общем, о «врагах нации», с ходу сменившая классовую легенду о «врагах народа». И как не ново, что среди создателей этой подновленной легенды оказались рядом и литератор, расцветший на болоте застоя, и партийный функционер.

Август 1990.

СОДЕРЖАНИЕ

Гибель богов	3
Прощание с утопией	8
Наука ненависти	16

ИВАНОВА Наталья Борисовна

ГИБЕЛЬ БОГОВ

Статьи

Редактор Н. И. А ж г и х и н а

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

Сдано в набор 10.09.91. Подписано к печати 17.10.91. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,27.
Тираж 81000 экз. Зак. № 878. Цена 20 коп.

Типография издательства «Правда».
125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.